

Валентин Лукин

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

Повесть о детстве

г. Чкаловск
2009 год

Не искал я ни славы, ни покоя.
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

С. Есенин

Керосиновая лампа

Старый родительский дом был в ту пору еще нашим, то есть не проданным, поэтому, я хоть давно и не жил уже в нем, приходил туда, как к себе домой. И вот как-то, уж не помню и зачем, приспичило мне забраться на чердак. Что мне там понадобилось – не знаю. Давно уж это было.

На чердаке под слоем едко пахнувшей пыли валялось много разной рухляди: зыбка, основное мое место обитания лет до двух, а то и до трех; мамина прялка – копыл и прядильный гребень; старое, с худым дном, долбленое корыто; машинка-резка, с помощью которой отец резал табак; во множестве валялись тонкие и толстые школьные тетради и учебники за разные годы, да и мало ли еще чего – худые валенки, рваные ботинки. Многое из этого хлама сразу же заставляло включиться соответствующие участки памяти, картинки прошлого проплывали перед внутренним взором одна за другой...

Вдруг среди всех этих ненужных теперь вещей увидел я старенькую жестяную керосиновую лампу, рыже-коричневую от ржавчины, с вмятинами на боках. Я обрадовался ей, этой находке, так, как если бы отыскал что-то и в самом деле очень дорогое, ценное. Теплые, благодарные чувства накатили сами собой, заполнили душу. Сколько же лет, трудных, тягостных, военных и первых послевоенных лет верой и правдой служила нам она, отгоняя в стороны, в углы мрак и печаль длинных, предлинных зимних вечеров!

И опять, опять стало всплывать в памяти, казалось бы, забытое уже навсегда...

В зимних, серых сумерках после нехитрых уличных забав мы с братом Витюхой, сопливая ребятня, возвращаемся

домой, забираемся на печь и сидим там до самых потемок без света – керосина зря не палили, берегли. Приходят с работы старший брат с сестрой.

Наконец, приходит отец, хмурый, угрюмый от усталости и от постоянно докучающих болей в желудке от хронической застарелой язвы. Мать «вздувает» лампу, и сразу в избе становится радостней, уютней и вроде бы даже теплее. Пока отец разоблачается, снимает брезентовые обтрепанные, во многих местах прожженные окалиной штаны и куртку, пока умывается, мама достает из печи и ставит на стол черный прокопченный чугунок с картошкой в мундире. На стол ставится деревянная солонка с крупной желтой солью, ставится эмалированное блюдо с пластовой или шинкованной капустой, иногда – с солеными огурцами или помидорами.

Хлеб режут очень аккуратно и дают на выдачу, съел свое – больше не спрашивай.

Лампа стоит посередине стола на перевернутой вверх дном плошке и подмаргивает, подмигивает, озаряя неверным светом лица собравшихся за столом. Язычок пламени так и выплывает за ламповым стеклом. Он мерцает, поигрывает, отражаясь бликом в черных зрачках отца, мягко высвечивает руки матери, бережно делящие хлеб. За спинами сидящих за столом громоздятся изломанные и распластанные по стенам огромные черные тени, зловещие, страшные. А по углам, у порога, у печи – там совсем уж темно...

Мы по очереди достаем из чугунка картошку, деловито и бесцеремонно снимаем с нее «мундир», а потом сдабриваем щепоткой соли. Можно картошку предварительно разломить пополам, тогда она парная, рассыпчатая на изломе, особенно вкусно, аппетитно пахнет. Капуста, только что вынутая из погреба, принесенная с мороза, с тонкими прозрачными листиками льда, приятно остужает во рту жар нестерпимо горячей картошки.

Все мы были разными и по возрасту, и по характеру, но вот здесь, за столом, за ужином у керосиновой лампы мы были единым неделимым организмом, имя которому семья.

После ужина отец забирался на печь, если его донимала язва. Когда боль утихала, подсаживался поближе к печке и принимался резать табак. Мама принималась что-нибудь чинить, латать. Клавдия, старшая сестра, садилась за швейную машинку. Шурка, брат, усаживался чеботарить, валенки подшивать. Средние брат с сестрой учили уроки или же вслух для всех читали по очереди какую-нибудь книгу. Каждый был при своем деле, чем-нибудь да занят.

Между тем красный язычок пламени за стеклом лампы становился все меньше и меньше, вот-вот совсем погаснет. Тогда кто-нибудь вставал, подкручивал вертушок-колесико, выдвигая фитиль, и снова изба озарялась светом, а тьма, совсем было готовая поглотить всех и вся, отпрыгивала в угол, к печке.

Лампа называлась семилинейной. Почему так – я уже не могу объяснить. Когда ламповое стекло становилось совсем темным от копоти, мама протирала его, с крайней осторожностью мыла и еще раз вытирала насухо. И снова лампа светила ярко и весело.

Керосин для лампы хранили в подполье в специальной четвертной бутылки, под бутылку была сплетена высокая и узкая плетуха, и ставилась она в подполье в наиболее безопасный уголок, чтобы кто-нибудь ненароком не задел, не опрокинул.

- Керосин дают! – оповещал кто-нибудь из соседей мать, и она вынимала из подполья плетуху с бутылкой, ставила ее в плетеные санки и отправлялась в керосинку.

Керосиновая лавка находилась в начале нашей улицы, но каждый день керосина там не отпускали, а только раза два - три в месяц. Поэтому в такие дни у лавки выстраивалась длинная очередь. И все же керосину хватало всем.

Свет на нашу улицу провели в сорок седьмом году. Накануне этого события разговоров, волнения и у взрослых, и у нас, детей, было хоть отбавляй. «Свет! Будут свет проводить!» Как его будут проводить, никто не знал и не имел об этом никакого понятия.

Но вот однажды на улице с самого утра появились незнакомые мужики. Они походили вдоль улицы туда обратно, что-то прикидывая, вымеряя, где-то забивали деревянные колышки, потом в этих местах принялись копать ямы. На другой день около каждой ямы лежали уже золотистые, свежошкуренные столбы с осмоленными концами, и мужики принялись устанавливать их с помощью веревочных растяжек и железных рогулек на длинных шестах. Вслед за ними пришли два монтера, подпоясанные широкими брезентовыми ремнями, на которых позвякивали железные цепочки. А еще за плечами у них висели кривые крючья для лазанья по столбам, и мы от монтеров узнали, что эти крючья называются кошки.

Парни электромонтеры разматывали, растягивали меж столбов мотки проволоки, потом, надев на ноги свои кошки и захлестнув вокруг столба цепочки поясных ремней, полезли вверх, стали натягивать провода.

Мальчишки, как замороженные глядели на них – эх, вот попробовать бы самим залезть на столб!

Когда провода были натянуты и к каждому дому была сделана подводка, монтеры принялись за внутреннюю проводку. Недели через две из дома в дом пошла весть: «Подключили! Дали уже! Дали свет!»

Отец подошел к выключателю, повернул черный вертушок, и изба мгновенно озарилась теплым мягким светом. И все, кто был в избе, зажмурились от непривычной яркости и сами даже словно бы засветились, заулыбались. Чудо, да и только!

Настроение у отца в тот день было хорошим.

- Убирай, мать, керосиновую лампу!

Свет провели, но без керосиновой лампы обойтись вовсе никак было нельзя. С лампой мама ходила во двор подоить корову, с лампой мылись по субботам в бане. Да и так, когда на электростанции случались какие-нибудь неполадки, а они на первых порах бывали нередко, опять «вздували» старенькую керосиновую лампу.

И долго еще стояла в уголке в подполье пузатая бутыл с керосином, упрятанная для надежности в таловую плетуху.



Запах дикой розы

Отец брился каждый день, неряшливости он терпеть не мог ни в чем.

Я не знаю, были ли тогда в употреблении бритвы безопасные, так называемые станки со сменными лезвиями, наверное были, но у отца бритва была самая, что ни на есть настоящая – опасная, складная. Сталь бритвы потемнела, даже стала чуть лиловой от давности. Но само лезвие, само жало высвечивало зеркальным блеском.

Отец хранил бритву в потрепанном футляре, и Боже упаси было кому-нибудь до нее хотя бы даже дотронуться.

С особенной тщательностью, как будто бы выполняя некий ритуал, брился отец, собираясь в воскресенье утром на базар, или же перед тем как пойти к кому-нибудь в гости. Чтобы хорошо пробрить в складках и морщинах щек, он натягивал в нужных местах дряблую кожу языком. Нелегко было пробрить и подбородок – он у него был в виде бублика с дыркой посередине. Под носом отец оставлял кубик усов, такие усы в те годы носили многие.

После бритья скулы у него блестели будто смазанные жиром и сквозь кожу отчетливо проступала мелкая сетка склеротических кровянистых жилок.

Всякий раз перед бритьем отец правил бритву на широком ремне, что висел на гвозде, вбитом в косяк окна. Ремень был заласкан бритвой до глянцевого блеска

Ах, как хорошо памятен этот отцов ремень! Кроме упомянутого, у него было еще одно назначение – им отец угощал нас с братом Витюхой за разные провинности, иногда совершенно пустяковые.

Вот вечером вся семья наша сидит за столом вокруг чугушка с картошкой в мундире. И мы с Витюхой сидим тут же рядышком на скамейке, лупим горячущие рассыпчатые

картошины. Лупим, а сами под столом ногами друг дружку тырк да тырк. После локтями – он мне тырк, я ему тырк. Отец сидит, вроде бы и не глядит на нас, вроде бы ничего и не замечает, потом встанет тихонько, снимет ремень с гвоздя, да так выходит, что у нас у обоих аж в штанах мокро станет.

Что и говорить – жесткая педагогика! Но такова уж была та среда и таковы были ее нравы. Ведь и к отцу в свое время наверняка применялись все те же методы воспитания. Не без основания считая эти методы весьма действенными, он, может быть, даже чаще, чем требовалось, прибегал к ним по отношению к нам, младшим своим чадам.

Кроме того, частые вспышки излишнего порой гнева были обусловлены еще и давней, долго мучившей отца болезнью – застарелой, запущенной язвой желудка. Язву отец приобрел в годы войны, когда работать приходилось неделями, не выходя из цеха, при никудышном питании, можно сказать, на сухом пайке. Работа котельщика и в нормальных-то условиях нелегка и предрасполагает к приобретению язвы, а что уж говорить о том времени...

В затон отец пошел работать с десяти лет. Сначала подносил с горна из кузницы раскаленные заклепки рабочим-клепальщикам. С этого обычно и начинался путь в рабочую жизнь любого котельщика. Со временем год от года все больше и больше набирался отец опыта и сноровки, стал квалифицированным рабочим, стал бригадиром, его фотографию стали помещать на Доску почета.

Поскольку отец был человеком трезвым и дисциплинированным, в тридцатые годы начальство хотело его произвести даже в мастера. Но для этого надо было вступить в партию, и отец написал и подал уже заявление. Однако его мать, наша бабушка, прознав про это, страшно перепугалась, для нее вступление в партию было равносильно тому, чтобы душу дьяволу продать. И денно, и ночью сутки за сутками она безудержно плакала и молилась о том, чтобы Господь отвел такую напасть.

И нервы у отца не выдержали, в назначенный для приема день он на партсобрание не пришел. После этого его даже из бригадиров убрали, как не оправдавшего доверия. Приставили к нему востроглазого слухача-стукача. К счастью, отец не только на работе, но и дома был крайне немногословен, и дело обошлось. Разумеется, фотографии его на Доску почета больше не помещали.

Отец терпеть не мог никаких ни розыгрышей, ни шуток, ни зубоскальства. Мама, после того, как отца уже не стало, с чьих-то слов рассказывала такой случай.

В цеху среди котельщиков распространена была шутка – то ли шапку с головы, то ли рукавицы из рук выхватят у кого-нибудь да оземь, а когда тот нагнется, чтобы их поднять, тогда еще и по шее «наклонного» дадут. Отец же как раз имел привычку ходить руки за спину, а в руках рукавички. Но никому и в голову не приходило разыграть отца. И все же как-то одному из новеньких, из свежих вздумалось пошутить над ним. Ну вот, пошутил. «Подними», - приказал отец. Тот ухмыляется, не хочет поднимать. Тогда отец так двинул шутника, что тот упал на землю, по-собачьи заскулил, засучил ногами.

Отец же, не оборачиваясь, пошел прочь.

Руки у отца за долгое время работы с неподатливым железом и с восьмикилограммовою кувалдой-кормилицей сами уже превратились в тяжелые кувалды, от плеча до запястья перевитые свилью жил, а внизу черный, прямоугольный, увесистый кулак.

Вот поэтому нас, чад своих, отец рукой никогда не трогал – только ремешком.

Вина отец не пил, разве что рюмочку, другую в праздник. А вот курильщиком был заядлым. Курево, конечно же, в немалой степени способствовало все большим и большим страданиям от язвы, но бросить курить для отца было неприемлемо.

Табак у нас был свой, его сажали сами, он так и назывался – самосад, технология его производства была доведена до совершенства. В конце августа, когда табачные стебли достигали наибольшей полноты развития, их срубали или широким ножом «косарем», или маленьким топориком. Ножом срезали листья, а стебли разрезали вдоль надвое, из трубчатых стеблей при этом ножом же вынималась ватная сердцевина, после чего, если дни бывали солнечными, табак раскладывался прямо на грядке подвялиться, подсушиться. Затем стебли развешивались на чердаке на проволочных растяжках, а листья раскладывались там же на железных или фанерных листах и там ждали своего срока. Резали табак обыкновенно зимними вечерами, для этого у отца была специальная резка, и этим он обыкновенно занимался сам. Но когда отца не стало, производство самосада стало хотя и небольшой, но все же одной из статей дохода в наш скудный семейный бюджет, и резкой табака занимались мы с Витюхой.

Закостеневшие стебли резать было не так-то просто, требовались хорошие усилия. Потом промежутки между ножами резки часто забивались, и их приходилось пробивать, прочищать ножом.

Нарезанные стебли и листья досушивались в вольной печи, вонь при этом шла по всей избе. Но вот, наконец, все высохло до нужной кондиции, теперь только нужно смешать крупитчатые корешки с мелкотой листа, причем смешать так, чтобы табак был и не слишком крепок, и не слишком слаб. Мама ходила торговать табаком к проходной затона, «рупь стакан», и ее табак мужики хвалили и охотно покупали.

Отец сам для себя делал табак по своему рецепту. Для курева у него был целый припас принадлежностей – жестяная, помятая коробочка из-под леденцов для махорки; газета, сложенная так, чтобы оторвать ровно на одну сигарку; а еще кремень и стальное кресало, сделанное из обломка

напильника, а еще трут из желтой ваты. Спички в военные и послевоенные годы были в цене, поэтому отец и добывал огонь для курева таким вот первобытным способом, ударяя кресалом о кремень, искрою поджигал ватный трут, а потом уже от него прикуривал.

Впрочем, у отца была еще и специальная машинка для того чтобы набивать табаком папиросные гильзы. Набив штук двадцать папирос, он аккуратно укладывал их в металлический портсигар. Но этим он занимался только перед тем, как пойти на базар или к кому-нибудь в гости, то есть, чтобы произвести впечатление.

На базар отец ходил не так уж часто, ну, может быть, раз в месяц, и там его привлекал лишь один объект - это железно-скобяная лавка, где торговали изделиями из железа, инструментом. Надев очки, он внимательнейшим образом рассматривал, да нет - не рассматривал, а изучал все, что там лежало на прилавках и в узких деревянных ящичках.

И хоть инструментов для работы по металлу и жести у него было хоть отбавляй, он все равно приносил с базара очередную приглянувшуюся ему железку.

По металлу отец, наверное, мог сработать все, клепать, вытачивать, сверлить – все это ему доставляло удовольствие. Ведра, тазы, умывальники, ковш, противни для выпечки пирогов и даже оловянные ложки и уполовник – все это было сделано руками отца.

В годы войны отец изготовлял булавки, иголки, жестяные кружки, еще какую-то дребедень, а мама отправлялась с этой дребеденью в Пестяки и выменивала ее на «мануфактуру», на полотно и холсты, и шила нам хоть и не очень фасонистые, но прочные, крепкие штаны и рубахи.

После смерти отца мама не нашла в себе сил и смелости ни продать, ни хотя бы отдать кому-нибудь отцов «струмент», и все это собиравшееся годами и хранившееся в деревянных ящиках под рундуком, в конце концов заржавело, пришло в негодность.

Никто в округе не мог отбить косу лучше отца, и перед покосом ему приносили их штук десять, и никому он не отказывал. Залудить прогоревший самовар, запаять кастрюлю или ведро, сделать тяпку-сечку для рубки капусты – за всем этим соседи шли к Павлу Петровичу.

Ни разу не видывал я отца играющим в карты или за каким-нибудь другим праздным занятием. Он не давал рукам отдыха и покоя, если только уж болезнь донимала вконец, он забирался на печь и там, скрючившись, стонал, кряхтел, мучился от боли.

Раз – другой за лето позволял он себе отдых – сходить в лес по грибы, но и из леса он что-нибудь да приносил «пользы ради» – вырезанную из вершины сосны мутовку, удилище или хотя бы можжевельных веток для запарки кадушки.

В послевоенное лето он надумал сделать в задней избе ремонт. Шпаклевал и грунтовал щели, белил потолок. Любовно, тщательно подбирал колер для стен, а потом не спеша водил вверх – вниз кистью флейцем, укрывая стену зеленовато-голубой, цвета морской волны, краской. Время от времени он отходил от стены и, наклонив голову набок, как это делают живописцы, оценивал свою работу.

И потолок, и стены, и выкрашенный желтою охрой пол – все выглядело как нельзя лучше, но отец решил еще для пущей важности по верху стен пустить орнамент из цветов маков. Возможно, что он у кого-нибудь видел такое украшение, и захотелось сделать самому.

Из картона вырезал отдельные трафареты для алых лепестков, для желтой середины, для зеленых листьев. Наштамповав торцом кисти орнамент, остался своей работой очень доволен. «Гляди, мать, изба – то ровно улыбается!»

Никто и никогда, кроме мамы, не называл его иначе как Павел Петрович, да и мама Пашей называла лишь тогда, когда не было рядом посторонних.

Поскольку отец не пил вина, у него не было друзей-приятелей, однако к нему нередко приходили наши соседи, а особенно мамины сестры, за каким-то бытовым, житейским советом.

Он умел трезво, дальновидно и расчетливо оценить ту или иную ситуацию. Внимательно выслушав пришедшего, уяснив суть дела, отец садился на табурет к самоварной отдушине, не торопясь, свертывал сигарку, закуривал и начинал точно и четко рисовать картину последствий при том или ином раскладе событий. А потом заключал: «Ну вот, теперь сам гляди». Так что безапелляционного мнения своего он никому не навязывал, просто помогал выбрать правильное решение.

Когда отца мучили боли от язвы, и он, скрючившись, стонал то ли на печи, то ли на кровати, все ходили по избе на цыпочках, и к нему уж тут не подступись ни с какими делами.

Когда боль утихала, отец отходил, оттаивал душой, и в это время мама улаживала с ним всякие семейные вопросы, связанные в основном с денежными расходами. «Отец, Клавка говорит – уж больно хорош крепдешин в «Горт» привезли. Девка, чай. Хочется одеться». «Ну, что же, сходите, купите».

И мама с Клавкой, земли под ногами не чуя, бегут в «Горт» за крепдешинком.

Получку отец отдавал матери всю целиком, но она всегда обговаривала с ним предполагаемые важные расходы. Загибая пальцы, перечисляла, что необходимо купить, за что заплатить. Отец слушал, кивал головой. Если с чем-то не соглашался, возражать ему было бесполезно.

У меня хранится фотография отца именно этой поры, каким я его застал и запомнил. Здесь ему нет еще и пятидесяти, а выглядит на все семьдесят. Лысый, худой, под глазами мешки, морщины исчертили лицо вдоль и поперек. Большие, оттопыренные уши. Кадык остро выступил вперед на тощей, жилистой шее.

Это была вторая послевоенная весна, отец тогда уже работал мастером производственного обучения в ремесленном училище, и его попросили сфотографироваться на Доску почета. Сам себе на этой фотографии он, видимо, не очень нравился.

Я помню, как он карандашом пытался подрисовать на лысине кудри, но это у него не получалось, карандаш скользил по глянцу фото бумаги, как по стеклу.

Еще и еще раз вглядываюсь в черты отца. Хрящеватый нос, подбородок с круглой ямкой, когда отец нервничал, подбородок дергался вверх-вниз. Брови прямые, короткие, но кустистые. Из-под бровей глаза, два жгучих угля. Но здесь, на фотографии, они смотрят как бы чуть виновато, как бы прося прощения за излишнюю порой суровость по отношению к нам, малолетним чадам своим.

В ремесленном училище отец работал года два. Кувалдой стучать здесь не надо было. Однако среди ребят-ремеслухи послевоенной поры было немало отъявленных стервецов, и чтобы с ними волжаться, надо было иметь не нервы, а стальные канаты. Распространено было членовредительство, кто руку себе проколет напильником, кто палец себе отрубит ради того только, чтоб получить несколько дней освобождения от занятий. Отец в такие дни приходил домой белый, как мел, и сразу на печь. Болезнь все больше изводила его, ему дали инвалидность. И пошел он в сторожа – охранять склады конторы «Заготзерно». Склады эти находились неподалеку от кладбища. «Теперь уж до копка совсем рядом, рукой подать», - невесело трунил над собой отец.

Отправляясь с вечера на вахту, он обыкновенно брал с собой обед – перекуску. Но иногда у мамы к уходу отца еще не было ничего приготовлено. В таком случае обед отцу должен был снести я.

Мне тогда шел уже седьмой год, и многие события и картины того времени в памяти отпечатались отчетливо и ярко.

Летом мама почти каждый день ходила на базар торговать различной огородной зеленью и поэтому у печи управлялась только к полудню. И вот когда управится, ставит в старенькую дерматиновую сумку глиняную плошку с яичницей, бутылку топленого молока, кладет два скроя белого хлеба. Обертывая все это чистой тряпицей и поустойчивей устанавливая в сумке, приговаривает: «Тихонько, смотри. Не урони, не разбей. Да там не клянчи у отца-то.. Чай, знаешь, что ему другого – то есть нельзя». «Знаю, знаю...»

На крыльце после прохладного сумрака избы полуденное июльское солнце ослепляет, захлестывает светом и теплом. Кругом белым-бело. Деревья, дома и заборы – все вокруг теряет очертания и окраску, все как бы плывет и плавится в знойном мареве. Ступни ног ласкает тепло белой, плотно утопанной дорожки, ручейком петляющей вдоль улицы. В конце улицы – большая проезжая дорога, укрытая чуть ли не полуметровым слоем пыли. Дорога ведет к МТС, по ней день-деньской ездят машины и трактора.

Серый эмтеэсовский дом, контора и береза около нее, крытые красною черепицей крыши мастерских – все это давно знакомо, все привычно глазу.

А вот и лесопилка, рядом штабеля пиленого и непиленого, круглого леса. А еще длинные предлинные поленницы дров, в этих поленницах, я знаю, живут и выводят птенцов трясогузки.

После лесопилки дорога идет под гору и упирается в мощный булыжником большак, он ведет уже далеко-далеко. Камни-булыжники на дороге подогнаны друг к другу так плотно, как будто зерна в кукурузном початке, но по камням босиком идти не очень-то удобно, и я иду сбоку, тут тоже натоптанная дорожка.

Вдоль большой дороги, за высоким серым забором расположены склады различных заготовительных контор – заготльна, заготскота, заготзерна. Склады заготзерна находятся в самом конце череды этих серых, длинных и скучных амбаров и сараев, до них по большаку было около полукилометра, если не больше. Но едва я успевал ступить на дорогу-каменку, как оттуда, издали, стремительно неслась мне навстречу огромная собака. Приближалась она с молниеносной быстротой, гигантскими прыжками, вся на лету вытягиваясь в струну.

Подбежав, она клала мне на плечи большие тяжелые лапы – как только не сбивала с ног? – и все-таки не сбивала, обдавала горячим дыханием из огромной разверстой пасти, с безудержной радостью лизала в щеки и нос. Наконец, успокоившись, с крайней осторожностью забирала у меня из рук дерматиновую сумку.

Это повторялось всякий день и всякий раз. Вот и сегодня – мягко переступая крупными, сильными лапами, приподняв голову, с зажатой в зубах сумкой, она с осознанием большой важности выполняемого дела неторопливо выступает впереди меня. Это Альфа, сторожевая собака-овчарка с заготзерна, помощница отца и большая умница. «Только что не говорит, а понимать – все понимает», – хвалил ее отец. Удивительно было, как она чуть ли не за километр чуяла мое приближение. И никогда, ни разу не было случая, чтобы Альфа уронила сумку с обедом на дорогу.

Вот Альфа переступает порог дежурки, где несет службу отец, ставит сумку у его ног, а сама ложится в уголке. Отец гладит ее по голове, а потом, не торопясь, принимается за еду.

Я хожу по дежурке, разглядываю плакаты, что развешаны по стенам. Красочные плакаты, нарядные. «Береги хлеб, хлеб народное добро!». И все же исподтишка нет-нет да взгляну на отца, нет-нет да сглотну слюну.

Наконец отец кладет ложку на стол. «Что-то больше не хочу. Может ты поешь, сынок? Тоже не хочешь? Ну, ладно, Альфе придется отдать...»

Ага! Чуть ли не четверть плошки яичницы отдать Альфе? Альфе и так каждый день варят мослы и всякую требуху со скотобойни. Уж больно жирна будет Альфа. Я хватаю ложку и принимаюсь уписывать яичницу.

Альфа лежит в сторонке, положив голову на лапы, изредка вздыхает и вроде даже подремывает. Лишь изредка взгляд ее соломенно-желтых прозрачных глаз встречается с моим. Я вспоминаю, как она старалась, когда несла сумку с обедом, и когда у меня в руке остается полскоря хлеба, а в миске две ложки яичницы, я перекладываю их на хлеб и отношу в уголок Альфе. Альфа этот кусок проглатывает даже не жуя, одним махом, но все же с благодарностью смотрит на меня – не забыл, не обошел вниманием.

Работа у отца, понятное дело, была нетяжелой, но все-таки по тем временам – ответственной. Тогда даже и за горсть украденного зерна судили, а тут за целые склады надо было отвечать. Вот поэтому на всякий случай отцу дана была винтовка, а по ночам вдоль высокого забора, ограждавшего склады, бегала овчарка Альфа. Винтовка была старенькая, с обшарпанным прикладом и замусоленным цевьем, она, наверное, сохранилась еще со времен первой мировой войны. Отец даже выражал сомнение – способна ли она и выстрелить, однако регулярно смазывал ей затвор, прочищал ствол для того, чтобы, как он говорил, не завелись там пауки. Иногда мы приходили к отцу в караулку вдвоем с братом Витюхой, и он давал нам передернуть затвор пустой винтовки и щелкнуть курком.

И все же ему однажды пришлось-таки выстрелить из винтовки. Глухой, темной ночью отец услышал в дальнем углу складской территории возню и грозный рык Альфы, а



потом громкий ее визг. Альфа просто так, без причины никогда и голоса не подавала. Отец выстрелил в темное небо, перезарядил винтовку и поспешил на шум. Альфа, слабо поскуливая, ползла к нему на животе. Злоумышленники пырнули ей ножом, а сами скрылись в темени ночи.

Сейчас Альфа поправилась. Вот она, проглотив кусок хлеба с яичницей, как что-то ничтожно малое, тщательно вылизывает то место, где он лежал, и отправляется под лавку, лишь изредка вскидывает взгляд светло-желтых глаз то на отца, то на меня.

Отец же, пообедав, принимается за какое-нибудь заделье. Просто так, без дела сидеть он совершенно не мог, поэтому, чтобы занять время, он обыкновенно брал из дому какую-нибудь работу. Ну а я, поиграв еще немного с Альфой, отправлялся по большаку в обратный путь, домой.

Отца все чаще и чаще клали в больницу. Мы с мамой ходили его навещать и в потрепанной дерматиновой сумке приносили ему дополнительное питание – сливочного масла, бутылку топленого молока, яичницу.

Около больницы свежей зеленью благоухал уютный садик. Вот выйдет к нам отец в этот садик, и все трое усядемся мы на скамеечку-диван возле кустов цветущего шиповника и диких роз. Цветы пахнут сильно, сладко-тягуче. А от отца, от его нижнего плохо постиранного больничного белья пахнет лекарствами, нехорошо.

Отец так худ и желт, что страшно на него глядеть, кожа да кости. Видно было, что он уж на этом свете не жилец. И все находят, наплывают волнами запахи то диких роз, то больницы.

Много лет прошло с тех пор, но стоит только услышать запах цветущего шиповника или диких роз, как тут же вспоминается и этот печальный, тоскливый запах больницы, смерти.

Поздней осенью отца опять положили в больницу. Его готовили к операции, почему-то несколько дней не давали есть, а потом даже и пить. Он нестерпимых страданий он умер, так и не дождавшись дня операции. Когда его вскрыли, то оказалось, что из язвы давно уже образовался рак желудка. Незадолго до смерти мы с мамой сидели в больнице у его изголовья. На него было страшно смотреть – живой скелет, обтянутый желтой кожей. В темных глазах у него стояло что-то жуткое, потустороннее, щемящая душу тоска.

Даже говорить ему было трудно, губы пересохли, побелели, потрескались. «Что поделываешь сынок?», - едва выговаривая слова, спросил он у меня. «Книжки читаю...» «Ну читай, читай...».

Слабой, высохшей рукой он в последний раз погладил меня по голове.

Белые ромашки

... Субботний день. Да нет, еще не день, еще только утро, и впереди у нашей мамы уйма всяких дел и хлопот.

Вот она ухватом из печи вынимает и ставит на шесток тяжеленный чугунок с горячей водой

- Суббота, суббота – бабья работа, - вполголоса разговаривает она сама с собой. Подхватив чугунок под бока тряпкой, наливает кипятку в оцинкованный таз, пар тут же серым облаком взлетает к потолку. Горячо – надо, конечно, холодной водички подбавить, а то и руки сваришь.

На середину избы выдвигаются стол, скамейки, табуретки, все это тщательно скоблится ножом, моется, вытирается. С закваскою чистится большущий медный самовар, чистятся медные оклады икон.

Подоткнув подол юбки, мама окунает заскорузлую тряпку в таз и принимается с переднего угла мыть пол. Я сижу на печке, мама и стремянку отставила, чтобы не слезал и не крутился под ногами. С печки хорошо видно, как мама проворно снует по избе взад-вперед с мокрой тряпкой, потом сыплет на пол ровными рядками песок-дресву и, заступив ногой голик, изо всей силы трет им широкие некрашенные половицы.

Мама раскраснелась, пот выступил на лбу, волосы выбились из-под платка, растрепались. Ветхая ситцевая кофтенка прилипла к телу в ложбинке спины, босые ноги забрызганы грязью.

– У, еретик эдакий! Штобы взял тебя прыткой-ту! - со смехом грозит мне мать на печь, а сама довольна тем, что так хорошо спорится у нее работа. Наконец грязь с пола собрана, и половицы насухо вытираются отжатою тряпкой. Накинув

на потные плечи ватпушку, мама идет во двор, моет коридор, крыльцо.

И вот принесены в избу из чулана чистые, морозцем пахнущие половички, и мама раскатывает их по янтарным, уже высохшим почти, половицам. Вот и стремянка подставлена к печке:

— Слазь, нечистый дух, да смотри из ветру у меня не выбегай!

Часы-ходики на стенке тихонько, но настойчиво твердят и твердят свое: «Весь-день, весь-день...». Весь день нет ни конца, ни краю маминой извечной суеты. Пришли старшие на обед, кто с работы, кто из школы, и вновь мама гоношится у печи. Не успеет семью накормить, как во дворе поросенок Борька начинает выводить свои протяжные песни, корова Дочка напоминает о себе, тоже подает голос. Вся скотина с раннего утра накормлена, напоена и обихожена, да ведь сколько уж времени прошло с утра-то.

А ходики тикают да тикают, ни на минуту не остановятся. Не успеешь оглянуться, как и баню пора растапливать. А хорошо протопить баню – не кота за хвост дернуть! Надо, чтобы жару-пару хватило на всех и чтобы гару-угару в бане не осталось. Не часто, но бывало и так, что завалится какая-нибудь вонючая головешка в уголок банной печи, и кого-то угораздит до тошноты, а то и до беспамятства угореть. Но прежде, чем затопить баню, надо перво-наперво воды в котел наносить и в запас надо пару ведер оставить, чтобы было чем разбавить, расхолодить да окатиться.

Пока топится баня, мама для каждого припасет смену чистого белья – рубахи, рубашонки, кальсоны, штанишники. Вчера вечером она этого белья сняла с чердака целый ворох. О, как сразу вся изба наполнилась свежим, чистым, таким чудесным морозным духом! Белье на чердаке от мороза задубенело, колом стоит, не согнуть. Но ничего, в тепле быстро отойдет, обмякнет. Какие-то штаны, какие-то кофты мама прислоняет на ухватах к печке-подтопку, что-то

развешивает на шестах на лежанке печи. За ночь все хорошо высохло, и теперь этот ворох белья надо погладить.

Вот мама накручивает на круглый деревянный каток отцовы кальсоны и рубчатым вальком катает их по столу. Тесемки кальсон о столешницу так и пощелкивают, швы под рубчиками валька так и похрустывают. Раз пять так-то прокрутит их мать по столу, обмякнут, добрыми к телу становятся после этого холщовые кальсоны.

Занавески, наволочки, покрывала да простыни, конечно, так не гладили. Для этого существовал чугунный жаровой утюг. Да такие вещи и не стирались за всякий раз, а больше приноравливались к какому-нибудь празднику – к Рождеству, к Пасхе, к Троице.

К приходу отца и старших сестер, братьев и белье было поглажено, и баня истоплена. Пока они напеременку моются, маме и Дочку надо еще подоить и сенца ей задать, и Борьке под бок свежей соломки бросить.

Ни на минуту не присядет мама за день, и в баню-то идет последней. И только поздним вечером, когда семья усядется за самоваром, она за стаканом чая, вытирая полотенцем обильный пот, украдкой ото всех вздохнет: «Суббота, суббота... Бабья работа...»

На постели, не успев и «Отче наш» прошептать до конца, уснет она на полуслове крепким сном до следующего утра. За субботой придет воскресенье. Ну, а что, что воскресенье? Печку надо топить? Надо. Варёво надо варить? Надо. Скотину надо кормить? Надо.

Да в воскресенье еще и на базар надо сходить. Как же - без этого и воскресенье вроде бы уж не воскресенье. Продаст мама четверти две дочкиного молока, иной раз с базара новое коромысло принесет или решето, а то для нас, младших, грамм двести пряников купит. Вот и нам радость!

В воскресенье к вечеру, управившись со всеми делами, мама позволяла себе иногда, и то – это когда уж отца не стало, сходить на полчасика, на часик погулять, покалякать о

жизни к соседкам – то ли к тете Шуре, то ли к Наталье. Вот уйдет – и сразу пусто, сразу скучно становится в избе. Какая-то мертвенная, тягучая воцаряется тишина. Никто не шебуршит, не хлопочет у печи, никто не хлопает дверью. Старшие тоже ради воскресенья разошлись кто куда, кто на гулянку, кто в кино... И лишь маятник стареньких ходиков выговаривает, подтверждает: «Тос-ка... Тос-ка...»

Невтерпеж станет, шубейку накину да к тете Шуре: «Мамк, пойдем домой!». Мать смеется: «Да что это тебе не сидится дома-то? Что ты мне уж и полчасика-то посидеть не дашь? Почитал бы, да поиграл бы!...» «Ску-у-у-шно!»

Зимой в будние дни мама плела корзинки на продажу. Каждый вырученный рублишко в такой семье бывал далеко не лишним.

Талу в лугах на берегу Волги было предостаточно и белого, и красного. Запасали его обычно поздней осенью по первому снежку, чтобы можно было вязанки прутьев привезти на санках. Тал чем ни больше его вырубали, тем гуще рос на следующий год.

У мамы в дело шел тал вареный, корзинок из неочищенного зеленого тала она почти что не плела. Запаривался тал в огромных самых больших чугунах. С большим трудом направленные туда пучки прутьев, заливались водой и несколько часов томились, парились в печи.

Когда тал упревал, мама вынимала чугуны, с большой осторожностью вызволяла из них горячие парные талины.

- Что ты тут, еретичишко, вертишься? Резнет вот по галяшкам-ту, так будешь знать!

Тугие, упругие кольца тала, и правда, иной раз невзначай вырвавшись из тесного нутра чугуна пребольно хлещут по ногам.

И все-таки после пропарки талины становятся гораздо мягче, податливее. Совсем мягкой делается их кожа, теперь ее нужно очистить. Делается это с помощью

нехитрого приспособления – в деревянный чурбан вбит железный прут с расщепленным пополам верхним концом. Талину надо комельком заложить в расщеп прута, а затем потянуть на себя, и тогда кожица, будто чулок с ноги, легко снимается единым этим движением. Терпкий, сладко-кислый дух идет от вороха снятой кожуры. Такая несложная операция по силам даже и мне, семилетнему пацанчику.

Между тем мама приносит со двора станок и принимается за работу. Станок тоже не ахти какое сложное сооружение, а помощь в работе от него большая. Что же он из себя представляет? Стоит на полу крестовина, такая же, в какие устанавливают новогодние елки. В крестовине укреплен железный прут – ось, на которой крутится деревянный барабан. На верхнем диске барабана просверлены дыры, в них вставляются стойки – прочные прутья, это основа корзины.

Барабан помаленьку вращается и уже более тонкими талинами выводится обечайка или боковина. Стойки оплетаются ряд за рядом, все высится да высится боковина. «Кряк, кряк!» – поскрипывает, побряхтывает, вращаясь под маминой рукой барабан станка.

«Тук, тук!» – это мама черенком кодочига уплотняет, подгоняет друг к другу рядки талин.

«Все – так, все – так»!, – с одобрением подтверждают мамыны действия неугомонные часы-ходики.

За работой мама иной раз тихонечко и песенку замурлычет, но чаще вспоминает про свои «молодые годики».

- Тятенька-то каждый день урок давал. Вот утром одевается, собирается, лошадей идет запрягать. А нам с порога: «Девчонки! Машка, Грушка! По десятку плетите в семью, а что сверху – это на себя, это на наряды». Шутка в деле десятков корзин сплести. За день за работой все песни перепоем. Заполночь, а мы все плетем. Спать-то охота, глазыньки слипаются. Грушка плела и хуже и медленнее.

Одолеет свой десяток да спать. А мне уж одеться-то получше больно хотелось, еще корзины две сплету...

Мама научилась плести корзины еще в девичестве, чуть не все Жуково занималось этим ремеслом. Тягенька, то есть наш дед, отвозил готовый товар на продажу в Нижний. Любой фасон, любой размер – все знала, все умела мама. Мерошная, полумерошная, межеумок, маленошная, бельевая – может, теперь я уж какие-то названия и позабыл. Вот помню, плелись еще дорожные корзины с крышкой, и крышку при надобности можно было даже запереть на замок, чтобы нечистый на руку человек не смог выкрасть содержимое. Из остатков, из вершинок плела мама совсем маленькие, величиной с кулак, в два кулака корзиночки. В них удобно собирать малину, вишню, смородину. Через ручку корзинки перекидывается петлей бечевка, одевается на шею, и тогда ягоды можно собирать обеими руками.

Возле маминого станка всегда валяется ворох ни на что уже не годных обрезков. Из них можно выложить на полу домик и забор у домика, и колодец. Брат Витюха стал показывать мне, как из этих палочек можно сложить различные буквы, и я выкладывал их и запоминал. Так, в игре, без всякого труда и усилия задолго до школы выучился я чтению и в шесть лет читал уже книжки.

Как радостны, как упоительно хороши, бывали после долгой, морозной зимы первые солнечные мартовские денечки! И всякий день приносил теперь все новые и новые вести. В середине марта уже и грачи прилетят, первые гонцы настоящей весны. В такую вот пору субботним вечером выйдешь из жаркой бани на волю, весь-то помытый, весь напаренный, а воздух на улице такой сладкий, прохладный и такой чудесный, что, кажется, весь бы век дышал – не надышался.

И вот тут какой-то гомон послышится, какой-то непонятный шум. Задерешь голову вверх, а на тополе – огромный тополь стоял у нашего огорода – там на старых

гнездах сидят, копошатся, только что прилетевшие грачи. Гнезд на дереве было, наверное, штук двадцать, а то и больше. Грачи устали, и тихо пока, неторопливо переговариваются между собой там, вверху, в бледно-сиреновой мгле. Должно быть, обсуждают какие-то предстоящие на завтрашний день дела. И радость, тихая безотчетная радость накатит вдруг медленной, но сильной волной, заполнит все существо, каждую клеточку души и тела.

Колесом катятся золотые денечки! Вот уж и снегу совсем не остается, на задах только, за домом да за двором лежат грязно-серые пласты, так туда и солнце не достает, а они, эти последние останки, так уж сами по себе сякнут, хиреют.

Об эту пору у мамы на всех подоконниках в деревянных ящиках с землей стоит и ярко зеленеет насквозь пронизанная солнцем помидорная рассада. Едва пройдут майские праздники, и все наше «войско», вся семья гамызом двинется в усад. Перво-наперво надо было посадить картошку, ею занимали пол-усада, соток десять – двенадцать.

... Теплынь и нега с самого утра плывут, витают над землею. С самого утра смеется, радуется в бездонном синем небе золотое солнышко. И едва позавтракав, с самого утра вышло в наступление мамино войско.

Вот Шурка с Клавдей таскают со двора заранее приготовленный, выметанный мамой из хлева навоз, сваливают его кучками на участок. Вот Райка с Витюхой несут в двуручной корзине набранную мамой в подполье посадочную семенную картошку. И вот Шурка взялся за заступ, ровно, как будто по линейке, ведет первый рядок. Клавдя следом за ним кидает в рядок толстым слоем навоз. Следующий рядок ведет Райка, навоз оказывается под землею. И вот теперь уже мама тычет в этот рядок по две, по три картошины, стараясь выдерживать между ними одинаковое расстояние. Вот у Шурки из-под заступа появилась, откопалась из земли глиняная свистулька, он

вытирает ее о штаны, палочкой выковыривает из дырок землю. Пробует – свистит свистулька! Сколько радости у всех от такой неожиданной находки, а больше всех у меня, потому что Шурка великодушно отдает ее мне.

Солнышко все пуще да пуще пригревает, и земля такая теплая, что вполне можно ходить босиком. Носить навоз да заступом копать землю без обуви нельзя, ну, а мы с Витюхой, конечно же, босые. Стараемся по мере возможности не мешать, а наоборот, если что-то попросят, подать, принести из дому попить.

Так дня за два бывает засажен картофельный участок. Вторую половину усада, где произрастал остальной разнообразный овощ, мама обихаживала в основном сама. Ну, помогут, конечно, и Шурка с Клавдей землю под грядки вскопать, сами же грядки сделать – это мама никому не доверит. Они у нее всегда получались ровными, прямыми, аккуратными. Да и всякое дело в огороде мама делала с большой любовью и старанием.

В чайных блюдечках, в мелких тарелочках на мокрых тряпочках разложит огуречные, тыквенные, гороховые, бобовые и прочие семена, и каждый день заботливо поглядывает, ждет когда проклюнутся семечки, дадут ли росточки. И всегда дивилась, радовалась мудрому устройению и неистощимым силам природы.

В огороде у мамы все было распланировано будто по чертежу. Когда, что и как посадить или посеять – все это мама знала и умела так хорошо, что даже и соседки зачастую приходили к ней за консультацией по таким вопросам.

К середине мая у мамы на грядках густой порослью росла уже различная рассада – капусты, свеклы, огурцов, и она несла ее с утра пораньше на продажу на базар в больших корзинах на коромысле наперевес. Приходили к ней за рассадой и домой, потому что знали - рассады лучше, чем у нашей мамы нет ни у кого.

На освободившихся грядках мама сажала всё ту же капусту и свеклу. К Николину дню было посажено все – лук и огурцы, репа и калига, горох и бобы, помидоры и тыквы. Мама ходила по бороздам вдоль грядки и, будто доктор пациентов, осматривала все свое зеленое царство-государство. Тут подрыхлит, там подкормит.

Вот и картошка взошла, скоро уж и окучивать. Но это ладно, это Шурка с Клавдей по утрачку да по вечеру сделают. Худо, что дни стоят жаркие, засушливые. А как бы надо дожличка! Поливка – что, хоть каждый день поливай, а все, как мертвому припарка.

Но вот, наконец, в какой-то день небо заволакивало серыми тучками. И сразу становилась темной густая зелень тополя, что стоял возле забора у огорода, и он приумолкал каждым своим листом. Наступала тишина, она была такой вязкой, что вроде бы даже приглушала голоса петухов, которые в предчувствии дождя время от времени устраивали по дворам переключку. Ждет, ждет земля дождя!

И вот он сначала тихим шепотом зашебуршит по сухой земле, по листьям, по траве, а потом возьмет да припустит – частый, спорый. Да хорошо, что без ветра, будто по заказу. «Слава тебе, всемилостивый Господи! Слава тебе!» – со вздохом облегчения перекрестится мать.

Дел в огороде хватало на все лето до осени, до белых мух. После дожличка в рост шел не только овощ, но и трава, ее надо было полоть. Надо было окучить помидоры, капусту, тыквы. Где-то забить колышки, что-то подвязать. И каждый божий день гнула мама спину над грядками...

Помощников у нее становилось все меньше, с каждым годом редело наше «войско». Старшие братья, сестры женились, выходили замуж и уходили из дома. Уехал на учебу брат Витюха. И все же каждый год мама посеет и посадит как всегда все, что полагается, – и репу, и бобы, и горох, и с пяток подсолнухов.

- Мама, зачем? Кому, для чего это? – спросишь у нее.

- Да так уж ... Может, вот тебе не захочется ли когда. Захочется – а нету, не в людях же покупать!

Мама была невысокого роста, но плотной, приземистой, широкой в кости. Когда-то в молодые годы, все только завидовали ее здоровью и силе. Вечерами за каким-нибудь делом, за шитьем или за чисткой картошки, она любила вспоминать прошлое, о чем-то порассказать.

- Как-то надо было рожь свезти на мельницу, смолоть. Зимой дело было. Еду по дороге, в санях мешки с рожью. Ладно. И вот навстречу мужик едет, тоже на лошади. А дорога-то узкая. Потихоньку – так может бы и разъехались. А мужик как заорет, как засвистит – дураков-то и тогда немало было. Гнедко мой перепугался, как шарахнется в сторону, в челок, в сугроб по брюхо залез – куда сани, куда мешки.

Мужик погнался, хохочет, гогочет, а мне - хоть реви. Гнедка на дорогу еле выправила, сани из челка еле вытащила. Мешки мои все на дороге да в сугробе. Валандаюсь с ними в снегу, а ведь мешки-то не нонешни - по пять пудов в каждом. На мельнице опять стаскивай да подтаскивай. Кто поможет? Тебе надо – ты и таскай. Чижоло, конечно. Ну, всежи тогда сила брала...

До тридцатых годов улица наша была деревней, у каждого жителя был надел земли, усад, по пятьдесят соток. На полосе сеяли свой хлеб. Управиться со всеми хозяйственными работами помогала лошадка.

В тридцатые годы усад уменьшился вдвое, и лошадки во дворе не стало. Все тяжелые работы легли теперь на плечи матери.

«Вам что не жить, у вас тепло», - говорила мамина сестра Дуняшка, когда зимой приходила к нам и забиралась погреться на горячую печь. Тепло-то, тепло, да кабы по щучьему велению появлялось это тепло.

Всю зиму вместо лошади чалила, возила мать на санках дрова из-за Волги, с другой стороны. Делянки для рубки дров выделяли за Курмышом. Под рубку отводили сухостой в

болотинах да низинах, а там торчат елоха да осина. В настоящий лес лесник не пускал, застигнет кого – и санки изрубит и топор отберет.

В сырой елохе тяги, что в железе. Мама же воз положит больше всех. Бабы – товарки завидовали ее здоровью: « Ты, Марья, видать, из чугуна отлита!».

Путь до Курмыша в один конец верст восемь, как не больше. Порожнему сходить – конец не ближний, а с груженными санками, с возом – семь потов сойдет. Но не семь, семьдесят семь потов сойдет, пока этот тяжеленный воз вытащишь в крутую и длинную Малыгину гору на въезде в поселок, когда и силы-то уж все на исходе.

Вот тут-то и подорвала мама свое здоровье. Вскоре у нее появилась тяжелая, опасная болезнь. В Горьком сделали операцию. Сделали, слава Богу, удачно, и какое-то время спустя мама вновь стала справлять всю работу по дому и в огороде, но не стало уж той неумной силы.

Не стало силы заготавливать сено для коровы, и пришлось ее продать. А когда-то мама косила наравне с мужиками. На покос ездили на гривы, в Суходол.

«К концу дня так умаешься – нитки сухой в рубаше нет. А ряд свой хоть умри, а веди. Чуть приостановишься, а сзади то уж - вжик да вжик, гляди того по пяткам-ту тебе вжикнут...»

И все же сноровка к любой работе осталась у мамы вплоть до самой старости.

Она на пару с Шуркой чуть не целый день могла пилить дрова, как бы за работу это не считая.

И нас, младших, учила пилить не спеша, рассчитывая силы, учила не рвать пилу, не давить на нее и не вилять ею из стороны в сторону, а водить ровно и легко, расслабляя руку на обратном ходу.

Колол дрова обычно Шурка, но мама и в этом деле знала толк. В этом я убедился лишний раз, когда мне было лет шестнадцать, а маме, соответственно, под шестьдесят. В ту пору колоть дрова приходилось уж мне, и вот при таких

делах попался как-то березовый чурбан из непростых – весь свилеватый, весь в сучках, в общем безнадежный. И только мое упрямство и самонадеянная уверенность в том, что все можно одолеть силой, заставляли раз за разом ударять в вязкое, будто резиновое тело чурбана. Но он покоряться силе не желал, хотя и был уже изрядко измочален с обоих концов. Я был весь в мыле. Подошла мама, покачала головой. Взяла топор – топор, а не колун - и меткими, точными ударами разрубила сучки, что отростками торчали по бокам чурбана, потом тюкнула в его измочаленную сердцевину, и он как будто по волшебству сам собой распался на части. «Умом надо брать-то, а не дурью...».

Но больше всего при заготовке дров нравилось маме выкладывать поленицу. Вот эту работу она уже не доверяла никому, всегда делала сама. Чего хорошего, если поленица среди зимы возьмет да и рухнет? Вот поэтому и выводила ее мама с таким же тщанием, как возводит каменных дел мастер крепостную стену. Она высматривала нужное полено, если не подходило – отбрасывала его, брала другое. В результате поленья подгонялись друг к другу так плотно, что и просвета между ними почти что не было, а на выложенную поленицу любо-дорого было посмотреть.

Мама, хотя и старательно, но долго и с великим трудом выводила свою фамилию в ведомости, когда почтальонша Юлия Ивановна Ражева приносила ей «пензию за отца». И читала еле-еле, едва умела прочесть вывеску на магазине. И не удивительно – всего-то два воскресенья довелось сходить ей в сельскую воскресную школу. Однако деньги считать мама могла очень даже хорошо, и, самое главное, умела продуманно, расчетливо употреблять их в дело. А при тех доходах, какие имелись, качество это было немаловажное. В семье пятеро, и запросы у всех свои – Клавде хочется сшить крепдешиновое платье, Шурке позарез нужна гармонь, а у Витюхи валенки совсем развалились, в школу ходить не в чем. Вот и думай – гадай, что нужнее...

У мамы была хорошая память. Сколько всяких присловий и притч помнила она!

Вот пришивает пуговицу, а нитка что-то вденется длинней, чем нужно. «Ба! Нитка-то уж больно долга вделась, ровно у беса!» «Что за бес? Почему – у беса!» «А вот так уж было... Портной шубу шил у одних хозяев. Время полночь. Портные раньше все больше по ночам работали. И вот появился к нему сатана. Подсаживается, подлаживается и говорит: «Давай с тобой шить наперегонки. Если я скорее сошью – на тебе век воду возить буду, а твоя возьмет – спрашивай чего хошь».

Что делать? Ладно, согласился портной. Принялись за работу. Сатана взял нитку долгу, думает – надольше хватит, чтобы не перевздевать, время зря не тратить. А портной вдевает нитку всего с вершок, кончится нитка – другую вденет. Быстро работу кончил. А сатана бегал, бегал с долгой-ту ниткой по избе, так умаялся, что язык на плечо. Вот и объегорил портной беса!».

Мама знала много примет, поверий и обычаев. В какой-то праздник она окуривала и хлев, и корову Дочку Богородицкой травкой, возженной в горшке. Ходила кругами да что-то пришептывала. Она очень боялась грозы, закрывала при этом все печные вьюшки и задвижки, самовар занавешивала какой-нибудь тряпицей. Если дождь бывал с градом, открывала окно и из окошка бросала в землю нож, веря, что от этого град прекратится. Не знаю уж почему, но нередко так и бывало.

Мама знала много песен и за обычной своей работой, за плетением корзин, потихоньку, вполголоса, под скрип станка напевала:

Надену я платье,
К милому пойду,
А месяц осветит
Дорогу к нему...

Через какое-то время после того, как на нашу улицу провели свет, появилось и радио.

Мама долго противилась тому, чтобы радио провели и нам: «Не хватало еще, нечиста сила в избе будет выть!...» Но, наконец, ее уговорили. И вот зимним вечером сидит мама за каким-нибудь задельем, картошку чистит к завтрашнему дню или штопает что, а по радио музыку передают, концерт популярной музыки, но классической, конечно, - тогда еще поп музыки в современном понятии и слыхом не слыхивали – Чайковского, скажем, «Вальс маленьких лебедей», «Неаполитанский танец» или «Полонез Огинского». Мама сидит, слушает, слушает, потом и нож положит, и картошку отложит, ухо от платка освободит – так и замрет, так и засветится вся, а то и слезу платком промакнет: «Вот ведь гляди-ко как гоже».

В те годы по радио часто бывали передачи «Театр у микрофона». Пьесы Островского передавали. Содержание этих пьес маме было доступно, близко. А роли исполняли артисты-корифеи. Вот она прислушивается, прислушивается, сначала, как бы исподволь, потом пружина сюжета все более и более раскручивается, и мама все больше и больше заражается ходом разворачивающихся событий. И вот уже опять отложив заделье, всем сердцем переживает борьбу добра и зла, так и раскраснеется вся от волнения.

«Да штобы разорвал тя притка-ту!» - так и вскипит, бывало, негодуя по поводу козней какого-нибудь негодяя.

Рукодельем мама занималась мало, все не оставалось на это времени. Но как-то, изохотившись, вышла концы полотенца алыми маками. Умела строчкой сделать по краю простыни мережку, хорошо вышивала крестом и гладью. Однажды у кого-то в доме увидела она вышитые шторы, и очень уж ей понравился рисунок вышивки. Мама так и загорелась желаньем вышить такой же. Сшила из сурового полотна шторы, пустила по краям строчку «козликом», а посередине полотнищ гладью вышила любившийся мотив

– пучок колосьев золотой ржи, три синих василька да три белых ромашки.

С каким старанием, как любовно вышивала она этот узор! И как довольна осталась она своей работой! Мы тоже радовались и хвалили ее.

Сейчас, по прошествии долгих лет, мне представляется, что и сама душа у нашей мамы была проста, чиста и светла, как вышитые ею когда-то золотые колоски, синие васильки, белые ромашки.



Стаканчики граненые

День еще только начинается, погожий летний день. Из высоких окон в просторное помещение мастерской косыми золотисто-дымными полосами льется солнечный свет, ослепительно белыми пятнами свет ложится на пол, на длинные столы, за которыми сидят склонившись над швейными машинками молоденькие девушки-швеи.

Машинки, перебивая друг друга, резво стрекочут, и перебивая это стрекотанье, под потолок взлетает звонкая девичья песня:

Зайдите на цветы взглянуть,
Всего одна минута,
Приколет розу вам на грудь
Цветочница Анюта.

На полу в мастерской там и тут стоят черные одинокие портновские манекены, на стенах, на гвоздях висят картонные выкройки. На высокой, известкой побеленной стене висит портрет Сталина в обрамлении из зеленого плюща, перевитого красной лентой. Сталин в военном кителе, с погонами, со звездой на груди. Под портретом плакат – «Наше дело правое – мы победили». На других стенах тоже портреты – Молотов в очках-пенсне, Ворошилов с усами – кубиком.

Вообще-то тут когда-то была церковь, а сейчас вот в этом огромном помещении находятся мастерские промкомбината: швейная и сапожная. Здесь работает швейей моя старшая сестра Клава, и я нет-нет, да и навещу ее, Клава нет-нет да даст мне рублик. А на рублик в киоске на базаре можно купить мороженое или клюквенного морсу или петушка на палочке.

Вместе с Клавой работают веселые люди, закройщики Михаил Иванович Потехин и Александр Кровнов. Оба они были на фронте, оба большие любители заложить за воротник, и оба большие шутники.

Вот так зашел я однажды навестить Клаву, сижу возле нее, загляделся на что-то и совсем не заметил как шутник Кровнов подошел тихонько сзади, чиркнул спичкой и поднес ее к моей голове, за лето обросшей так, что она стала похожа на копну соломы. Волосы пыхнули точно так же, как солома, и опоздай Кровнов потушить их хоть на секунду, наверное, получился бы сильнейший ожог. Но, слава Богу, этого не произошло. Однако эта шутка почему-то вызвала всеобщий хохот и веселье. Мне же после этого пришлось идти в парихмахерскую и на даденный Клавой рубль постригаться наголо. Я, маленький пацанчик, испытывал неловкость за глупость взрослого и на вид вовсе неглупого человека. И Клава, я видел, испытывала неловкость, жалко ей было меня, а что делать? – пришлось и ей улыбаться натянутой улыбкой этой глупой шутке.

После этого случая меня не так уже тянуло в мастерскую к Клаве.

Однако я ничего не сказал о Михаиле Ивановиче Потехине, а он тоже был веселым человеком, бывало, что уходил в запой на неделю и больше. С похмелья за трешницу – а три рубля стоила кружка пива – мог любому по желанию спеть хоть «Многие лета», хоть «Степь да степь кругом». В огромном полупустом помещении акустика была такая, что от могучего баса Михаила Ивановича аж стекла в окнах дребезжали, и он сам наслаждался силой и мощью своего голоса.

Клава в мастерской у начальства на хорошем счету. Деньги, заработанные здесь, она отдает целиком матери, в семью. Но она еще шьет и дома по вечерам, и вот эти приработанные деньги ей разрешено изводить по собственному усмотрению, на наряды.

Клаве идет двадцатый год, девка уже, хочется и принарядиться, поэтому, придя с работы и наскоро поужинав, опять садится она за машинку. Работают они на пару с братом Шуркой, он сапожничает, она тужурки шьет. А чтобы не скучно было, на два голоса песни расппевают:

 Стаканчики граненые
 Упали со стола,
 Упали и разбились,
 Разбилась жизнь моя.

А еще:

 Вот уж и полночь пробила давно,
 Рад бы уснуть, да не спится.
 Ветер холодный стучится в окно,
 Ветер холодный стучится.

Вот так иной раз за полночь и сидят за работой да песнями. И поэтому все у Клавы есть, что полагается порядочной девушке - и модельные туфли, и хромовые сапожки, платья - шерстяное и крепдешиновое, жакетка, козепуховый пензенский платок, модная тогда шапка-кубанка и белый берет.

Но не всякий уж вечер корпит за работой Клава, бывает, что и в кино, и на танцы сходит, или на вечерку с подругами. Есть у Клавы и ухажер, Сережка Бакловский, живет на нашей же улице, через два дома.

Во всей округе нет, пожалуй, еще одного такого же отчаянного парня, и Клава любит его со всем жаром молодой девичьей души. Вечерком свистнет Сережка у нас под окошком, вызывая Клаву на гулянку, и она так и вспыхнет вся огнем, глаза заблестят, как у лихорадочной, тут же вскинется собираться и про шитье забудет. Гулянка гулянкою, но у отца было строго – чтобы в одиннадцать часов была дома.

Сережкин дедушка, Лазарь Евграфович, в дореволюционные годы был подрядчиком и мастером

котельных работ в затоне, по тем временам хорошая, высокая должность.

Детям своим дал хорошее образование, Сережкин отец, Василий Лазаревич, был в затоне одним из лучших инженеров-конструкторов, дом у него был поставлен еще совместно с Лазарем Евграфовичем, добротный, большой. В доме и в семье Василия Лазаревича в довоенные годы царили благополучие и достаток.

В самом начале войны его призвали на фронт, и вскоре жене его, тете Паше, пришла похоронка. Младший Сережкин брат, Костя, в одну из морозных военных зим замерз в лесу, вез из лесу санки с валежником, от недоедания и от переохлаждения ослаб и замерз. После таких несчастий тетя Паша тронулась умом.

В конце войны старшего Сережкиного брата мобилизовали на службу во флот.

И вот теперь живет Сережка вдвоем с полоумной матерью в большом нетопленном доме, тете Паше все нечистая сила мерещится по всем углам. Сережка тощий и злой, вечно полуголодный.

И все-таки держит форс - на голове серая кепочка - восьмиклинка, козырек в два пальца, из-под козырька кренделем выглядывает тугой русый чуб. Серый старенький пиджачок, а поверх пиджака выложен воротник рубашки апаш. Лицо у Сережки худое с нездоровым землистым оттенком, живость же всему его облику придают карие, орехового цвета глаза. В них часто вспыхивает искра то лукавого озорства, то злости, но вот погаснет этот бесовский огонек, и подернутся глаза налетом неизбывной печали...

Не успел еще вернуться со службы старший Сережкин брат, Евгений, как уже и самому Сережке пришел срок идти в армию. От больной матери вроде бы и не должны были его забрать, но пришла - таки повестка. В послевоенные годы вместо армии можно было поехать работать на шахты, стране нужен был уголь, и кто-то должен был его добывать.

И вот Сережка выбрал шахты. Может быть, Сережка и сам не хотел никаких отсрочек, потому что уж очень надоела ему неприкаянная, бесприютная жизнь.

О, сколько тревоги, сколько волнения вызвал предстоящий Сережкин отъезд у нашей Клавы! Какой неизмеримой тоскою изнывало ее молодое сердечко!

И вот, наконец, пришел тот день, а точнее вечер – вечер расставания. Как-то так получилось, что дома у нас в этот вечер кроме меня никого не было, поэтому и собралась за столом компания – Клава со своей лучшей подружкой да Сережка с товарищем. На столе бутылка красненького винишка, немудрящая закуска. Под рукой у Сережки пачка папирос «Дели», и он, щуря карий глаз, садит папироску за папироской.

Тучи дыма сизыми портянками плавают по избе, а он все дымит и дымит, то через нос, а то колечками к потолку.

Вот он разливает вино в граненые стаканчики, пьет не закусывая, пренебрегая дешевенькими конфетками. И все улыбается. Все смеется, будто напоказ выставляя крупные, ровные зубы. Клава в новом ярком крепдешиновом платье с вырезом, и брошка на груди – алая малинка с зеленым листиком. Губы подкрашены сердечком, волосы забрала кверху высоким валиком. Глаза блестят ярче обычного, на щеках из-под слоя пудры то и дело проступают лихорадочные пятна румянца.

Но вот выпито вино, опустела бутылка. И Сережка встает из-за стола, и маленько помотнуло его, должно быть, накурился сильно. В это время нечаянно задевает он рукавом пиджака за пустой стаканчик, и упал он со стола, но не разбился, а только покатился с хохотом по полу...

Уехал Сережка, и больше я его никогда уже не видел.

Ну, а что же наша Клава? А Клаве некуда, не к кому больше идти. Как придет с работы, поужинает скорехонько да и за машинку. Рядом Шурка чеботарничает, и будто соль на рану сыплет, поет:

Ах, дорогой, как люблю я тебя!
Любишь ли ты – я не знаю.
Но безответно вздыхаю, любя,
И безответно страдаю...

Ждет Клава весточки от Сережки месяц, ждет другой, а письма нет и нет. Не выдержала, сходила за адресом к Евгению Сережкиному брату, он уж к тому времени вернулся домой. Написала сама, но опять ни ответа, ни привета... Совсем тогда закручинилась Клава, высохла как щепка. Шурка, брат, сочувствует ей, по вечерам за работой распевает:

Стаканчики граненые
Упали со стола...

У Клавы слезы застыли глаза, а что делать? – подпевает Шурке:

Упали и разбились,
Разбилась жизнь моя!...

Так год прошел, другой пошел. Вот уж и отца не стало, и ругать за то, что с гулянки поздно пришла, некому. Но никуда не ходит Клава. Мама сама уж стала посылать ее сходить куда-нибудь погулять: «Мотри, так и засохнешь, так и останешься в девках».

Наконец, посватался к Клавке бравый парень-паренек Гриша Константинов. В первый раз пришел он к нам в нарядной голубой рубашке. Маме, чтобы задобрить, принес кулек грецких орехов, сам же их колот молотком на пороге, сам и угощал. Маме это понравилось, ну, и сладилось дело.

На свадьбе Гриша сидел опять все в той же голубой рубашке. Правда, потом оказалось, что рубашка эта не его, а брата. Но ничего. Со временем поставили Гриша с Клавой собственный дом, один за другим появилось у них трое сыновей. И хоть большого достатка в семье никогда не бывало, однако концы с концами все –таки как-то сходились.

Григорий Иванович был добросердечным, незлобивым мужиком, если вспылит, то и отойдет тут же. На работу был горяч, выпить любил, да что же - и все не без этого.

Но вот проходит лет пятнадцать, а уж и не двадцать ли, с того времени как уехал Сережка на шахты, и захотелось ему навестить родной дом, приехал в отпуск на неделю к брату Евгению. Клава, прознав про это, тайком от Гриши пришла к нам домой. Принарядилась, и глаза блестят, и щеки горят, будто маков цвет, как тогда, двадцать лет назад. «Пойду схожу, будто ненароком, будто просто так иду. Может, и увижу его. Узнать хоть, как он да что...»

Пошла. Сережка как раз на улице возле дома на лавочке сидит «Здравствуй, Сережа». «Здравствуй, Клава». «Ну, как живешь?» «Да все хорошо. Семья, дети. А ты как?» «И у меня все хорошо». «Ну, что же, дай тебе Бог и дальше того же».

И пошла Клава. Ведь как бы мимоходом шла.

Вот пришла домой, спрашиваем ее: «Ну, так какой он хоть из себя?» «Да все такой же. Худой только. Будто больной...» Григорий Иванович, Клавдин муж, рановато на тот свет ушел. На работу был горяч, да и выпить не редил.

Женила Клава всех трех своих сыновей, и все трое женились, что называется, по любви. Вот уже и старшая внучка, Клавдина любимица, замуж выходит. Клава на свадьбе сидит, с раскрасавицы невесты глаз не сводит. А щеки, хоть давно уже и покрылись мелкой сеткой морщин, горят, горят, как маков цвет.

Я же смотрю на Клаву, и все крутится в голове:

Стаканчики граненые упали со стола...

Что вспомнилось вдруг – и сам не знаю. Ведь столько лет уже прошло...

Брат мой Леска

Летнее утро. В воздухе такая чистота и прозрачность, такая удивительная ясность, что кажется, яснее уже и быть не может.

Рань, на улице ни души. И вот, несмотря на столь ранний час, из дома выходит наш Леска – в помятом, линиялом пиджачишке, на голове кургузый картуз с надломленным козырьком, на ногах облезлые сношенные сапоги. Через плечо у Лески пастушья плетъ, свернутая кольцом, а на шее на веревке висит выстроганный из звонкой сосновой доски барабан. И такой ли разлихой наигрыш наяривает Леска на этой деревянной штуковине, что бабы, будто встрепанные куры, вскакивают с нагретых постелей, спешно доят своих коров, открывают ворота и выгоняют скотину на улицу.

Собрав стадо, Леска гонит его в луга к реке. Теперь барабан у него за спиной, а в руках размотанная, длиннющая плетъ. Толстый комель смоленной плети перекинут через плечо, от чего пиджак на плечах черен и блестит как лакированный, а сама плетъ, извиваясь и шипя ужом, скользит за Леской по пыльной дороге. Леска нет-нет да как замахнется плетью, да как потянет ее на себя, и плетъ так жахнет, что воробьи, по-утреннему мирно копошащиеся в дорожной пыли, будто от выстрела брызгами прыснут ввысь, в спасительные кущи деревьев и кустов.

Мимо заруды, мимо складов заготовительной конторы стадо напрямик направляется в луга, коровы с аппетитом щиплют и жуют сочную, кое-где еще в утренней росе, травку, а Леска, усевшись где-нибудь в тенечке, принимается вырезать из черёмухового прута тросточку. Нарезая острым ножиком, а потом, вынимая, выковыривая податливую



кожицу, он пускает по тросточке разные орнаменты и узоры – то шашечки, то колечки, то змейку – спираль. Красивые тросточки получались у Лески!

К полудню, когда жара становится невыносимой, Леска гонит стадо на лежанку к запруде, и коровы, стоя по брюхо в теплой, желтой от растревоженной глины воде, хлещут себя хвостами по бокам направо и налево, отгоняя уже совсем озверевших вражин-слепней. В послеобеденное время, управившись дома с делами, на лежанку приходят бабы с подойниками. С великим трудом им удастся уговорить своих буренок хотя бы несколько минут постоять смирно – от слепней нету спасу. Присев на корточки, они с грехом пополам сдаивают молоко, и ошалевшие от укусов, коровы бегут к спасительной воде.

Леска в это время в холодке под кустом уписывает обед, который ему принесла одна из хозяек. Бабы кормят обедом Леску по очереди, и кормить пастуха положено не абы как, а хорошо и питательно. Сегодня у него и мясная окрошка и яичница с молоком.

Подзаправившись, он опять принимался что-нибудь вырезать ножичком, только теперь уж не тросточку, а фигурку какой-то зверушки, используя для этого опоку, слежавшуюся почти до каменной твердости глину, найденную им у обрывистого берега Санахты. Вечером Леска отдавал мне свои поделки, но они, к сожалению, были недолговечны. Однажды Леска вырезал замечательного слона, и я поставил его сушиться на печное чело в надежде, что он от этого обретет большую прочность. Но этого делать как раз и не надо было – слон, высохнув, растрескался и развалился на мелкие кусочки.

После обеденной дойки Леска перегоняет стадо в лес, и там коров одолевает гнус – мошка, комарье, строки, но там хотя бы попрохладней, нет того палящего зноя, как в лугах.

К вечеру, когда солнечный свет становится тускло-рыжим, Лескино стадо, вздымая на дороге золотистую пыль, возвращается домой.

В такие дни из-за того, что немилосердно свирепствуют слепни и гнус, коровы доят поменьше, чем обычно. Но как только пройдет эта напасть, так снова они станут возвращаться домой сытыми, довольными, с выменем полным молока.

Когда наступает грибная пора, Леска, бродя по лесу за коровами, на полянах, на опушках, часто нападал на гнезда боровичков, челяшей, маслят и вечером, высыпая их на стол из дерматиновой сумки, рассказывал, где и как они ему попались, голубчики.

В пастухи Леска подался после того, как в шестом классе бросил школу, повздорив с учительницей немецкого языка. Шла война, велика была ненависть к фашистам, и Леска принципиально, из-за брезгливости, не хотел изучать речь, на которой балакают «фрицы». Отец долго пытался и словами и ремнем увещевать его и внушить другое понятие, но Леска был упрям и в школу больше так и не стал ходить, а с

наступлением весны пошел пасти уличное стадо и занимался этим делом три года.

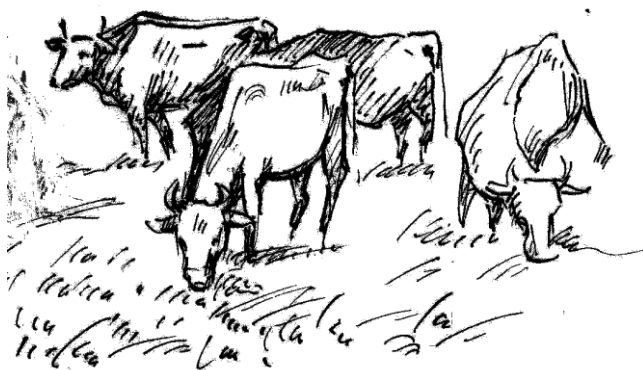
Всякий год перед началом пастьбы у нашего дома собирался сход для того, чтобы порядить Леску в пастухи и обговорить условия пастьбы. Вот Леска сидит на завалинке чуть поодаль от собравшихся баб и мужиков. Отстраненно глядит он то в небо с жиденькими облачками, то куда-то далеко-далеко, в конец улицы, и со всей категоричностью заявляет: «Нет, не даю я нонче своего согласия. Вот кабы не Комолоя, да не Ночка, дак может бы еще и пошел».

Леску понемногу общими усилиями обламывали. И он начинал сдавать позиции: «Ладно... Только коз к стаду и близко не подпущу!» Наконец, Леску убеждали в том, что из-за каких-то трех или пяти коз не нанимать же еще одного пастуха, и принимались обговаривать порядок и режим пастьбы, оплату и харч. На другой день Леска с видом преисполненным собственного достоинства усаживался на крыльцо и принимался плести новую плеть, из звонкой сосновой доски выстругивал новый барабан.

Так жил наш Леска. Но жизнь его вовсе не была такой уж безоблачной и беззаботной, как может показаться на первый взгляд. Попробуй-ка встать спозаранку, самым первым из всей улицы, и это изо дня в день, без всяких выходных и праздников. Попробуй-ка побегай день-деньской за этими заразами, за Комолой да за Ночкой. Совсем не напрасно так нелестно отзывался о них Леска на уличном сходе. Они так и норовят, так и ждут удобного момента, чтобы смыться и залезть в колхозные овсы. Ни плети, ни самых похабных слов не жалел на них Леска, но никак не мог перековать их своевольный норов.

А козы? О них и говорить уж нечего. Блудливость этой скотины общеизвестна. Чуть проморгал, чуть зазевался - и вот они уже в чужом огороде. В лесу им обязательно надо поскорей удрать и забраться в самые дебри, откуда их не выгонишь. Тросы стальные нужны тут, а не нервы!

Однажды Леску после сытного обеда угораздило вздремнуть где-то у лесной опушки, ведь и было парню всего каких-то шестнадцать лет. Уснул Леска, а стадо в это время забрело в колхозную рожь, и колхозный объездчик – мордоворот так его уходил, так ухайдакал, что Леска чуть не на карачках приполз домой и два дня харкал кровью. После этого случая и стал задумываться Леска над тем, как бы ему направить течение своей молодой жизни в иное русло.



Хромовые сапоги

Старшая наша сестра Клава, к тому времени уж года три, если не больше, работала швеей в промкомбинате. В этом промкомбинате была еще и сапожная мастерская. Клава у начальства была на хорошем счету, она замолвила за Леску словечко, и вот приняли его в эту мастерскую учиться на сапожника и посадили «под руку» к Николаю Евграфовичу Пискареву.

- Леска?!!

- Леска ...

- На чеботаря вздумал учиться?

- На чеботаря...

- Ну, садись тогда, едрена голова! Давай закурим!...

Николай Евграфович жил на задах нашей улицы. Был он маленьким, черным и востроносым, будто скворец, и домишко, где он жил, тоже был, как скворечник. Никто его по имени отчеству не называл, конечно. В глаза – дядя Коля, а за глаза – Сидадай. Почему Сидадай – не знаю, может потому, что говорил много, торопливо и сбивчиво. Однако сапожничал он всю жизнь и дело знал.

Леска схватывал все на лету. Стоило только раз поглядеть что и как делается, а руки зудели уж от нетерпения сделать это же самому.

Вскоре дядя Коля стал доверять Леске выполнение различного мелкого ремонта – то набойки набить на сношенные каблуки, то заплатку поставить, то стельки протачать перед подшивкой валенок. Видя, с какой аккуратностью и старанием подгоняет Леска стежок к стежку, дядя Коля одобрительно кричал:

- Ну, ну! Вали, вали! Только не в штаны!

Через малое время Леска стал работать самостоятельно, но постоянно приглядывался, да нет – не просто глядел, а с жадным интересом вникал и запоминал весь порядок работы, когда дядя Коля тачал тапочки, шил туфли или хромовые сапоги.

Дома у Лески появился старый фанерный чемодан, и в этом чемодане стал прибывать да прибывать различный сапожный инструмент. О, чего только не было в этом чемодане! Острые, как бритва, ножи, клещи и плоскогубцы, бруски и оселки... А шилья? Сколько тут шильев – и наколюшки, и шило прямое, и шило кривое, и с крючком, и рашпили, и шпандыри, иголки, крученые из стальной струны, дратва, обрезки кожи и кожимита... И молоток, конечно, и лапка.

- До струменту у меня чтобы не дотрагиваться. Замечу – башку оторву, - грозил он нам с братом Витюхой.

Но как же не дотронуться, как не поглядеть, когда все там так интересно, а главное – многое, очень даже многое может сгодиться и понадобится в нашей ребячьей жизни.

Рискуя остаться без башки, мы все же лезли в чемодан, когда нужен был кусочек хрома и нож, чтобы вырезать «кожу» к рогатке. Или когда нужна была дратва на тетиву для лука-самострела. А шило? Как без шила сошьешь крепления для лыж, для коньков? Нередко мы получали от Лески рвань, если он замечал зазубрины на ноже или обнаруживал какую-то пропажу.

Вечерами, особенно в зимнее время, Леска и Калька – так звали у нас в семье старшую сестру Клаву – занимались домашним приработком. Иной раз уж ночь-за полночь, а они все сидят – Калька жакетки да фуфайки шьет, Леска в зависимости от сезона, то тапочки тачает, то валенки подшивает.

За работой Леска сидит на липке – низенькой табуретке, сиденье у нее сделано из кожи, это чтобы сидеть было помягче. Если спросить у Лески почему же этот стульчик

называется липкой, он напустит на себя важности и, не отрываясь от дела, даст разъяснение:

- Потому и липка, что из липового чурбака раньше делалась. Возьмут чурбак, нутро выдолбят, чтобы только стенка осталась, а сверху кожей обтянут – вот тебе и липка!

Верстаком Леске служит широкая, гладко строганная доска. Он кладет ее перед собой на обычный уже, кухонный табурет. На доске лежат нож, шило, молоток и все остальное, что должно быть сегодня под рукой. На этой же доске Леска выкраивает из хрома заготовки для тапочек, вырезает стельки и подметки, каблуки и набойки. Потому и испещрена доска ножевыми порезами вдоль и поперек.

Прежде, чем сесть за работу, Леска готовит варные концы. Для этого в дверной косяк забит и кверху загнут гвоздь, к нему Леска привязывает соединенную в несколько ниток дратву и, поплевав на ладонь, сучит ее на колене - получается тонкая бечевка. Теперь ее надо наварить варником, чтобы льняная бечева была прочной, не прела от сырости и служила долго.

Этой несложной работенке Леска обучил и нас с братом Витюхой, и когда мы освоили ее довольно хорошо, то даже и заставлял наготовить ему концов впрок. Мудреного, конечно, ничего тут нет – заложил скрученную льняную бечевку в варник, сложенный вдвое лоскуток кожи с куском вара внутри, и надрючивай им взад вперед до тех пор, пока она вся от начала и до конца не покроется ровным слоем вара. Напоследок можно этот конец парафиновой свечкой или мылом протереть, тогда он заблестит, как лакированный и пачкаться при работе не будет. Вар пахнет терпко, но хорошо, приятно.

Леска говорит, что его из еловой смолы варят, еще воску пчелиного да сала топленого туда добавляют. Вару у него целая банка, и если в варнике его становится мало, можно палочкой подцепить да добавить.

Ну, ладно. Концы готовы. Из голенища старого, изношенного валенка вырезаны стельки. Можно и за работу, Леска надевает на руки наручники – продолговатые полоски кожи с прорезями для пальцев. Без наручников работать никак нельзя – в кровь руки концами изрежешь, и вот пошло дело, справа-налево, слева-направо, мечутся, перехлестывают протянутые шилом-крючком черные варные концы.

Стежок к стежку, стежок к стежку...

И Калька за столом застучала, застрекотала уже «зингеровской» машинкой.

Вот и песню наладили братец с сестрицей:

Кто-то выстрелил вдруг

Прямо в девичью грудь,

И она, как цветочек, завяла...

В один распрекрасный день Леска принес домой деревянные до тусклого блеска отполированные колодки и со всей категоричностью заявил:

- Буду шить себе сапоги!

Мама так и всплеснула руками:

- А, батюшки!

Да, мы все тогда – и отец, и мать, и Калька, и даже мы с Витюхой – все осознавали и понимали, что Леска берется за дело нешуточное. Хромовые сапоги – это не тапочки, это тебе не хорё-морё.

Воскресным днем Леска сходил на базар и в лавке у Александра Евграфовича Пискарева, родного брата дяди Коли Сидадая, купил мягкого, как атлас, богородского хрома. А еще твердой, как кость, бычьей кожи на подошвы. Дома он долго мял в руках, оглаживал и даже нюхал этот замечательной выделки хром, вожделенно глядел на него, все прихваливал да прищелкивал языком. Ногтем звонко щелкал по гладкой, желтой пластинке кожи для подошв.

- Ха-а-р-р-рош матерьял!

Леске, конечно же, не терпелось поскорей приняться за работу, но нет – у него к тому времени была уже

необходимая для мастера несуетливая выдержка, степенство, и он дождался следующего выходного дня.

И вот раскатал Леска на широкой раскроечной доске глянцевый, шелковистый хром, вот взял в правую руку острее бритвы отточенный нож.

- Леска, ты бы хоть с почином-ту сходил окстился перед Миколой-угодником да попросил, чтобы разуменья вложил тебе в голову.

Леска долго глядел на мать, не понимая, чего от него хотят, потом что-то все же до него дошло, он положил нож, пошел за перегородку к божнице в упечь.

Из-за перегородки Леска вышел немножко другим, похоже было, что какой-то груз, невидимую ношу сбросил он с плеч. По полотнищу хрома разложил он картонные шаблоны и выкройки, разложил так, чтобы поменьше было отходов, тоненько обвел шаблоны мелом и легко, смелой, уверенной рукой распластал хром на нужные заготовки.

Целых две недели шажок за шажком приближался Леска к задуманному, и нам с Витюхой, конечно же, страшно интересно было знать, что и как он делает, что и как будет делать завтра. Во все-то мы суем свой нос. Леска иной раз и цыкнет на нас, а то и подзатыльника даст. Мать, потрафляя ему, тоже нас костерит:

- Да отойдете ли вы от Лески-то, в конце-то концов! Что за еретики неслухмянные, прах вас возьми!

А Леска уже тачает голенища, стежок гонит мелкий, ровный, будто на швейной машинке шьет. Вывернул голенища на лицо, посадил их на правилья.

Волнение свое Леска старается не выказывать больно-то, но все равно его переживания, они как бы незримо висят в воздухе и волей-неволей захватывают, передаются всем – и отцу с матерью, и Кальке, и нам с Витюхой.

Леска за работой обычно распевает веселые песенки, то про Чико из Порто Рико, то про Чаниту, для которой в ее

шестнадцать лет открыты все двери. Но в этот раз он и песен не поет.

Вот во время перекура Леска садится с сигаркой к отдушине, к нему подсаживается отец. Скупыми, негромкими словами одобрения он старается утвердить в Леске спокойствие и уверенность. Леска поясняет отцу, какие следующие будут его действия, и отец внимательно, вникая в суть дела, выслушивает его. Отец, чьи руки много чего умели, всегда с огромным уважением и почтением относился к любому мастерству.

Леска тем временем пристрачивает к голенищам головки и задники, сажает сапоги на колодки. Тщательно правит он на оселке да на стальке и без того острый нож. Но сейчас он должен быть особенно острым – предстоит вырезать подошвы и набор для каблуков. А кожа – не хром, чуть не в палец толщиной.

Нет-нет да заглянет к Леске его наставник дядя Коля Сидадай. Живет он недалеко, дойти десять минут. И дяде Коле интересно узнать, как у Лески идут дела. Он и совет который раз даст дельный и словом приободрит.

Но вот уж и подошвы пришиты. В два ряда пройдены деревянными шпильками. Прибиты каблуки, и на ранты наведен бегунком-колесиком мелкий рубчик. Теперь можно из недр сапога и колодки вынимать. Нелегко это сделать. Крепко они там сидят. Как их вытащить?

- Не переживай, вынем! – важничает Леска. Колодки разъемные, из двух частей, и в них сделаны с обеих сторон дырки. В эти дырки надо суметь заправить железные крючья, с их помощью и вытаскиваются колодки. Отец держит сапог, а Леска что есть моченьки тянет. Аж покраснел весь от натуги! Вот выдернул – таки верхнюю часть, вторую вынуть уже проще.

Ну что же – дело как никак к концу движется. Теперь внутри сапога надо зачистить рашпилем выступающие

наружу острые деревянные шпильки, и после этого посадить на клей тонкие, мягкие стельки.

Еще и клей как следует не просох, а Леске уж не терпится примерить сапоги – не велики ли, не жмут ли, не обузил ли? Но нет, нельзя – надо дать выдержку. В ожидание Леска еще и еще раз дыхнет, да охватит подолом фартука то головку сапога, то отполированную до зеркального блеска подошву, никак не может налюбоваться своей работой.

Проходят сутки. Леска берет сапог, провдевает в «уши» голенища два указательных пальца, натягивает сапог на ногу и облегченно вздыхает:

- Как тут и был! Как вылитой!

- Ну, слава Тебе Господи, - вздыхает и мать, - вишь, помог он, Микола-то угодник.

Рады все – и отец, и Калька, и мы с Витюхой.



Гармонь

За какое бы дело ни брался наш Леска, все он делал старательно и с душой. Ничего у него не отбивалось от рук.

В задней избе у нас долгое время висела нарисованная им картина, ее почему-то называли «ковер». На большой проклеенной клеем холстине он масляными красками изобразил сцену свидания гусара с пышногрудой наездницей-дамой.

К изгороди привязаны их белые лошади, а на заднем плане парк с кудрявыми деревьями, замок с башнями.

Леске, когда он рисовал этот «ковер», было лет четырнадцать, и картина, ясное дело, не являла собой шедевр живописи. И тем не менее она всем в нашей семье очень даже нравилась, нравилась и всем другим, кто бы к нам ни заходил, и все хвалили Леску.

Шестым классом завершив курс наук, Леска от матери выучился плести корзины и плел их с такой аккуратностью, что вскоре они у него стали получаться не хуже маминых. А с какой прилежностью, с какой любовью, будучи в пастухах, плел он всякий раз в мае, в начале сезона, свою плетъ, выстукивал барабан!

Леска не был лентяем. Когда они вдвоем с Калькой занимались по вечерам домашней работой – он чеботарил, она шила – после полуночи Кальку начинал одолевать сон, а Леска увещевал, уговаривал:

- Ну ладно. Вот еще полчаса – и все, и хватит.

Утром спозаранок до работы опять будит Кальку: «Пойдем рядка по три хоть огребем картошки. Все маме полегче будет».

И когда окучивал картошку, на его рядки любо-дорого было поглядеть – высокие, ровные, прямые.

Все это было бы очень даже хорошо. Но из-за того, видимо, что любое дело у него спорилось, у Лески все более и более стала проявляться излишняя самоуверенность. А потом – бахвальство, зазнайство, спесь... Леска считал, что уж нет такого ремесла и такого дела, каким ему непосильно было бы овладеть. Да вот все же нашелся такой орешек, что оказался не по его зубам.

Леске шел девятнадцатый год. И не каждый уж вечер только и дел было, что сапожничать. Дело молодое, с друзьями приятелями иной раз и на гулянки разные ходил, на вечерки. А на вечерке парень с гармошкой, что козырной туз в карточной игре, все внимание на него, ему почет и уважение. Заговорило в Леске ретивое – силы нет, как захотелось гармошку.

А если что Леска задумал, он добьется своего. И вот появилась у него гармонь. Леска купил ее у кого-то с рук, не иначе как у какого-нибудь пьяницы. Гармонь была самодельная и неказиста на вид. На лицевой стороне деревянного корпуса по черному, уже кое-где вытершемуся лаку перламутровыми, кривовато вырезанными буквами наискось было выложено – «Буря», а чуть повыше букв – тоже перламутром выложен букетик ландышей. Странноватое, конечно, сочетание, но таков был уж каприз фантазии, сработавшего ее мастера.

Не откладывая дело в долгий ящик, Леска с присущим ему рвением принялся за учебу. Приятель Саша Кулаков показал ему какие пуговицы и в какой последовательности надо нажимать, чтобы сыграть «барыню». Леска освоил это дело. Потом таким же образом освоил «сормача». Запомнить и разучить мелодию песни «Когда б имел златые горы» было уже гораздо труднее, и тут Леска помучился немало.

Саша Кулаков все что-то твердил Леске про слух, про талант, а тот не мог взять в голову – что за слух, что за талант? Ведь он вот взял и выучился дробить «елецкого»,

«семеновну», и очень даже здорово, выучил сотню частушек и песен.

А тут талант нужен, видишь ли...

И все же путью играть Леска так и не научился, на слух, самостоятельно он подобрать ничего не мог. Разочаровавшись, поставил гармонь в угол, за горку.

Но вот как-то вечером зашел к нам дядя Коля Сидадай. Он частенько захаживал к Леске то ли за инструментинкой какой, а то и просто так – выкурить сигарку табаку да позубоскалить.

Веселый человек был дядя Коля! Маленький, черный волосом и лицом, не успеет он переступить порог, как в избе тут же становится шумно, тесно и интересно. Истории, происшествия, случавшиеся с самим или слышанные им, он мог рассказывать без конца. Если даже дядя Коля сидел молча, слушая собеседника, что бывало весьма редко, все равно и тогда морщины на его старом, дряблом лице шевелились, жили, складывались в потешные гримасы.



И руки его не знали покоя, и сам он беспрестанно ерзал на стуле, а то так даже и привскакивал. Возьмется козью ножку скрутить – руки, выпачканные варом, несуразные, клешнястые, как черные раки, будто бы и не очень торопятся, а сигарка сама, словно живая, крутится, вертится, из рук выпрыгивает да норовит прямо в рот. Фокусник да и только!

Так вот, пришел к нам дядя Коля, и попадись ему Лескина «Буря» на глаза. Сидатай шмыгнул в угол, взял гармонь на колени. Корявыми пальцами ковырнул ее в бока, как будто бы заигрывая, хотел пощекотать, и гармонь... вдруг хохотнула. Он прошелся по ладам – сверху вниз, снизу вверх – и словно бы задорный женский смех мелким крошечком рассыпался по избе. Старая Сидатаева физиономия преобразилась, бесчисленные мелкие и глубокие морщины вокруг глаз и губ заняли такое положение, сложились в такую конфигурацию, чтобы самым наилучшим образом выразить полную его душевную благодать.

А пальцы уже с электрической быстротой метались по регистру клавиш, и гармонь смеялась с чисто бабьим лукавством, с бесовским озорством, смеялась без удержу то заливисто и тонко, то самым низким грудным голосом.

Натешившись, Сидатай бережно поставил «Бурю» на место, туда, где взял, и как-то поспешно ушел, ни с кем и словом не обмолвившись.

С этого дня отношение к гармонии переменилось, и хоть и стояла она по прежнему в своем углу, но на нее поглядывали теперь уважительно: «А веселая, оказывается, гармошонка-то!»

Прошло еще сколько – то дней, и Сидатай снова наведалься к нам. Для виду, для близеру поболтал немного о том, о сем, потом – боком, боком – прошел в угол за горку и сел с гармонью на край лавки. Едва заметно шевеля пальцами, он начал подергивать гармонь, и та тихо, тихо заговорила, запричитала о нелегкой чьей-то судьбе, о неудавшейся жизни. Дядя Коля полуприкрыл, отвел в сторону

подернувшиеся мутью глаза, гармонь же всхлипывала и голосила, то источала звуки печальные и жалостливые, а то переходила на доверительный шепот.

Когда гармонь глубоко и горько вздохнула в последний раз, дядя Коля посидел с ней молча с минуту, поставил, ласково огладил рукой, и как в прошлый раз, ушел ни на кого не глядя.

Поняв и почувствовав, что гармонь ему попалась не простая, а с какой-то необыкновенной особенкой, Леска стал таскать ее по гулянкам и вечеркам, сам играть он по-прежнему так и не умел, освоил наигрыша три – четыре, а гармонь брал только ради того, чтобы похвастаться ею перед приятелями.

К тому времени Леска изрядно прибрахлился – у лучшего закройщика Кровнова пошил серый шевиотовый костюм, к зиме сшил драповое пальто с каракулевым воротником и кубанку с каракулевым околышем. Сам себе сшил замечательные белые фетровые бурки, и гармонь ему была нужна лишь как еще один атрибут прикида лихого паряги. На гулянках гармонь ходила по рукам, играл на ней всяк, кто хотел.

В один из воскресных дней дядя Коля Сидадай пришел к нам навеселе со своей богатой, сделанной на заказ хромкой, корпус инкрустирован перламутром, пуговицы тоже перламутровые, разноцветные, из нарядного ситца меха – огнем горит гармонь!

Дядя Коля присел, развернул меха, и яркая, такая же радужная, как сама гармонь, мелодия разлилась по избе.

- Ну что, Леска, махнем не глядя на «Бюрю»?

Непонятно было – то ли Сидадай в шутку это говорит, то ли всерьез.

- Ладно тебе, дядя Коля хреновиной-ту заниматься. Вот завтра, на трезвую голову приходи, тогда и потолкуем.

На трезвую голову Сидадай приходиться не спешил, а Леска продолжал таскать «Бюрю» по вечеркам, бывало, что домой

он возвращался в изрядном подпитии и, будто собаку, волочил гармонь за ремень по земле за собой. Бывало, что «Бури» не было дома неделями, но Леска как-то все же разыскивал ее и водворял на место, в свой угол за горку, наконец, «Бурю» совсем затаскали. Меха у нее провалились, оборвались ремни, на ладах не хватало пуговиц, иные из них заваливались. Сидардай не появлялся у нас долго, а когда пришел – пришел на трезвую голову – и взял гармонь, то ничего кроме простуженного сиплого хрипа извлечь из нее не смог.

- Эх, Леска, Леска!... Испохабил ты гармонь!...



Саша

Вообще-то нашего Леску звали по разному – кто Шурка, кто Саша, а кто и Саня. Леской его больше звали дома, в семье, да и то, в основном, мама. Но и она в последние годы его уже чаще Шуркой звала.

В ту осень, когда умер отец, Шурке шел девятнадцатый год, а мне седьмой. Казалось бы, какое у нас могло быть друг к другу касательство? У него свои дела – заботы, у меня свои. И тем не менее касательства были..

Вот вырезает Шурка на раскройной доске задник для подшивки валенка. В руках у него острейший сапожный нож, а мне интересно, мне все-то надо видеть, все-то надо знать, что и как делает Шурка. Я стою у него под рукой, и нос мой чуть ли не рядом с острым, как бритва ножом. Шурка черным от вара ногтем дает мне щелчка по лбу, маленько больно, но больше обидно. В награду за любознательность ни за что, ни про что получил шалбана.

Смываюсь в упечь и там, за перегородкой, не громко, но так, чтобы Шурка все же слышал, шепчу: «Шурик – жулик! Шурик – жулик!»

Когда это доходит до Шуркиного слуха, он встает с липки и награждает меня увесистым пендалем.

«Жулик – вор, кусачки спер!»

Шурка вновь встает и большим пальцем пребольно трет против шерсти по волосам на затылке – «втирает щетинку». Пулей вылетаю на улицу и там у окна, чтобы Шурке было слышно, ору: «Шурик – жулик! Жулик – вор».

Как-то мама напекла блинов, и Леска за подшивкой валенка незаметно завернул в блин стальку – металлический стержень, на котором он правил сапожный нож. Этим блином он легонько, но все же весьма ощутимо треснул меня по лбу.

- Мамк, меня Шурка блином по голове!

- Так што уж он тебя блином-ту перешиб што ли!

Шурка довольный своим изобретением, сидит, ехидно ухмыляется.

Еще ему очень нравилось каким-нибудь изощренным способом мучкарить нашего кота. Привяжет к дратве кусочек мяска или сальца и водит им около кошачьего носа, заставляет подпрыгивать за лакомым кусочком все выше и выше. Наконец, кот, изловчившись, хватает сальце, проглатывает его, но Шурка – изверг за крепкую нитку вытаскает его обратно. Я бросаюсь на защиту бедного кота и получаю крепкую затрещину. С ревом выскакиваю на улицу: «Шурик – жулик! Жулик – вор!»

Еще когда и отец жив был, Санька Бакловский давал мне иногда разок-другой затянуться табачком, а после смерти отца, не чувствуя за спиной грозной острастки, я стал покуривать уж довольно частенько, благо у дружка моего Саньки завсегда в кармане было два – три чинаря или щепоть махорки.

Покуривали мы обычно в овраге, у старого вяза. Люська Тардова застала меня за куревом раз, застала два и наябедничала Шурке. Тот подловил меня и во дворе у бани самым жестоким образом выпорол сложенным в несколько раз толстым, толщиной с палец, изолированным проводом. Шурка, поскольку отца не было, счел необходимым функции по моему воспитанию взять на себя, а метод воспитания применил тот же самый, как когда-то отец к нему самому. Курить я перестал, но и эту жестокую экзекуцию помнил и не мог простить Шурке много лет, да и, пожалуй, все школьные годы.

Сноровки и умения в сапожном ремесле у Шурки все прибавлялось и прибавлялось. И в мастерской, и дома, он стал тачать и мужские полуботинки, и дамские модельные туфли, ну и, конечно же, сапоги.

Как-то ему в мастерской поручили сшить хромовые сапоги аж для самого начальника милиции. Радости и гордости у Шурки была полная задница – не дяде Коле Сидадаю отдали заказ, а ему, Шурке!

В милиции сапоги начальнику могли бы, конечно, выдать и казенные, но ему очень уж хотелось, чтобы они были «со скрыпом», и Шурка устроил им «скрып», проложив между подошвой и стелькой два смоченных в керосине кусочка бересты.

Вместе с этим Шуркой все более и более овладевало пристрастие к выпивке. Начинал он, как водится, с легонького, с красненького, начинал понемножку, еще при отце, но, как говорится, лиха беда начало. Среда для этого дела в сапожной мастерской была более чем благоприятной. Один из сапожников, Саня Соловей, совсем еще молодой парень, вернулся с войны без ноги, ходил на костылях. Повод пить у него был, и пил он не просыхая. Время от времени в глубокие многодневные запои уходил и дядя Коля Сидадай, да и все другие стопку мимо рта не проносили.

Трезвенников среди сапожников сыскать трудно, вот язвенников – это да, это сколько угодно. Вот и у Шурки все чаще и чаще, сильнее да сильнее стало прихватывать желудок. То и дело крутило его от болей и резей на печной лежанке. Хочешь, не хочешь – пришлось в больницу идти, там обнаружили язву.

Может быть, эта болезнь была наследственной, ведь и отец много лет страдал от нее. Но скорее всего причиной ее было курево, им Шурка занимался лет с двенадцати.

Пытаясь снять боль, Шурка чуть на пачками глотал чайную соду, но это приносило лишь минутное облегчение. Из-за язвы его и в армию не взяли.

В промкомбинате Шурка был все же на хорошем счету, и ему дали путевку в санаторий, в Ессентуки. В задней половине дома у нас долго висела на стенке привезенная им оттуда фотография, на ней Шурка был запечатлен у бювета в

своим серым шевиотовым костюме и собственноручно сшитых хромовых сапогах – пятки вместе, носки врозь.

Уголки губ, будто у кота, закручены кверху в улыбку, в руке у Шурки стакан со знаменитой минеральной водой, а внизу фотографии наискосок золотое тиснение – «Ессентуки, 1952 год». Из Ессентуков Шурка вернулся посвежевшим, даже с румянцем на щеках.

Там в санатории, врачи ему посоветовали сменить профессию на какую-нибудь другую, где была бы возможность больше и свободней двигаться. Сапожное ремесло, когда изо дня в день приходится сидеть скрючившись в три погибели над обувкой, только усугубляет болезнь, потакая ее развитию.

И подался наш Шурка в столяры. Сапожное дело он навовсе не забросил, и фанерный чемодан с инструментом как был, так и остался на своем месте. Подшить ли валенки, набойку ли поставить на сносившийся каблук – он продолжал этим заниматься как для семьи, так и для любого, кто бы ни попросил. Но вот хромовые сапоги, да модельные туфли больше уже не шил.

И новое ремесло Шурка освоил быстро, полюбил его, прикипел к нему душой. На дворе у нас появился четвероногий основательный столярный верстак, со струбцинами, с зажимами, с гребенками. В навесном ящике на полках все прибывал и прибывал новый инструмент – ножовки и наградки, рубанки и фуганки, калевки разных сортов, стамески круглые и полукруглые, сверла, перки, рейсмус, угольники... Деревянную часть всякого инструмента Шурка делал сам. Из куска свилеватой неподатливой березы неторопясь и любовно вырубал и выстругивал он топорище, ручку для ножовки, тело рубанка. И все это у него получалось красиво, под конец шлифовалось, полировалось.

На инструмент Шурка не жалел никаких денег, и когда приобретал очередную железку для фуганка или рубанка,

внимательно разглядывал поставленное на ней клеймо, щелкал языком и восклицал в восхищении: «Лев на стреле!»

Прошло какое-то время, и Шурка стал делать красивую и модную тогда мебель – горки, комоды, они почему-то назывались туалетами, шифоньеры и столы. Изготовление каждой такой вещи требовало и мастерства, и кропотливого труда, и терпения. Тем более, что все приходилось делать вручную, без станочной обработки, в стесненных домашних условиях.

По зимам Шурка столярничал в неотапливаемой задней половине дома. Когда там бывало очень уж холодно, топил печку-голландку. Там ему было довольно просторно, и никто не мешал. Я к тому времени стал уже побольше, повзрослее, без дела свой нос куда не надо не совал и Шурку жуликом больше не дразнил. В заднюю приходил лишь когда он сам просил что-нибудь помочь, убрать стружки из-под верстака и сжечь их в печке, или наждачной бумагой отшкурить какие-нибудь заготовки.

Всякий раз в задней пахло по-разному, всего лучше конечно же, был запах свежих кудрявых стружек – какой-то веселый, радостный дух! Когда Шурка варил на электроплитке мездровый столярный клей, запах был не так уж хорош, но притерпишься, то и ничего, и сносно.

Вот все необходимые заготовки и детали оклеены шпоном и зажаты в струбцинах, раскреплены клиньями, и Шурка откупоривает бутылки с морилкой, с политурой. Резкий спиртовой запах так и шибанет в нос! И совсем дышать нечем становится, когда тампоном начнет он покрывать этим составом филенки и пилястры...

Когда горка или комод были готовы и где тускло, где весело поблескивали, даже и не верилось, что такую замечательную вещь сделал наш Шурка.

Однако винцо Шурка так и продолжал попивать. Поставит мама к празднику, к Рождеству Христову, бражку, бражка на печи и уделаться, и выбродить как следует еще не успеет, как

пол-бутыли уж нет – Шурка втихаря сблудил. Мама начнет ему пенять, а ему что - только лыбится.

- Хоть бы ты, Леска, женился уж что ли! Хватит, чай, тебе балабрыжиться...

Однако любовные дела у него как-то все не клеились.

Роста Шурка был небольшого и сложения отнюдь не атлетического, но все равно был парнем заметным. Один чуб чего только стоил! Темной, высокой волной вздымался он над головою, и оттуда сверху эта волна круто обрушивалась на обе стороны лба. Карие, насмешливые глаза, чуть подкрученные кверху тонкие уголки губ. Шурка всегда старался выделиться, и манерою одеться, и опрятностью. Брюки у него наглажены так, что стрелки тронь - палец обрежешь, ботинки начищены – хоть вместо зеркала глядись. Будучи совсем еще зеленым юнцом, Шурка втюрился в одну из эвакуированных в Чкаловск детдомовок, звали ее, кажется, Ира. Но эпизод этот был недолгим, война закончилась, девушек-детдомовок, и Иру в том числе, куда-то увезли.

После войны заднюю половину дома отец отдал в аренду некой заготовительной конторе. В конторе и работников было всего три человека – заведующий, бухгалтер и счетовод. Счетоводом была Руфа Ляпушкина, молодые жизненные соки бродили и кипели в ней с неумной силой, перехлестывали через край. Про таких девушек говорят – кровь с молоком. В неё-то и влюбился наш Шурка по самые уши. Но у Руфы были какие-то шуры-муры с бухгалтером заготконторы Борисом Васильевичем Федуловым. Борис Васильевич получил на фронте осколочное ранение в ногу, ходил с клюшкой, а в остальном был очень приятным во всех отношениях человеком. Шурка страшно ревновал, Руфе же чрезвычайно приятно было находится в фокусе внимания с двух сторон, она так и сияла, так и пылала вся любовным огнем.

Однако через некоторое время контора с квартиры съехала, и Руфа с горизонта пропала.

После этого к Шурке, будто банный лист к одному месту, пристала Галинка Перова, рыжая, назойливая девица с выщипанными и подведенными черным карандашом бровями. Чтобы быть поближе к Шурке, Галинка подружилась с Клавой, старшей нашей сестрой, подлизалась к ней и даже приходила к нам мыться в бане. Долгое время Галинка с разных флангов вела наступление, чтобы завоевать Шуркино сердце, но так ей и не удалось добиться успеха в этой кампании.

И вот, наконец, Шурке подфартило, наконец где-то выглядел, отыскал он девицу, которая по всем показателям оказалась ему под стать – глаза карие, лучистые, брови шелковистые, соболиные, зубы ровные да белые, круглолица да улыбчива, ямочки да румянец на щеках – прямо писаная красавица!

Имя у девушки – Валя, Валентина. Шурка вдвоем с Валентиной сходили в фотоателье Михаила Григорьевича Гребенкина и сфотографировались вместе, парой. Пара и впрямь была хороша!

Увеличенную фотографию Шурка поместил в собственноручно сделанную рамку и повесил на стену в задней, чистой половине дома.

Сыграли свадьбу, все чин по чину, все, как полагается. Молодые стали жить в задней половине, Валентина звала Шурку Сашей, и ему это явно было по душе. И все бы оно было ничего, да вот Валентина-то – волгарка, а к волгарям у мамы отношение было более чем прохладное. Вольные люди, бесшабашные головы, все одно, что цыгане. Ну, да что делать? «Ладно, что уж будет», - вздыхала мать.

Полетели денечки. Зимним вечером сидит Шурка, валенок шилом ковыряет, подшивает. Ему хочется лишнюю копейку в семью сгоношить, а Валентина подойдет сзади, белыми руками шею обовьет, ластится, трется, ей в постель скорей охота. Шурке это не по нутру.

Получит Валентина получку – половину в тот же день в магазине оставит, накупит колбасы и консервов, шоколадных конфет и пряников. Маме это не по нутру.

- До другой получки месяц. Как жить то будете?

- Да ну! Да ладно! Как-нибудь проживем.

Весной Валентина на Волгу плавать уже не пошла, в стройконтору разнорабочей устроилась. В мае подошла пора картошку да лук сажать, морковь да огурцы сеять, Валентина же в жизни не видывала, как все это делается. Вот так помощницу в дом привел Шурка!

Все это понемногу копилось, копилось. Да и накопилось. Валентина позволила себе то ли какое необдуманное, легкомысленное слово, а может быть даже и действие, но очень обидное для Шурки, и это оказалось той последней каплей, после чего уже что-то лопается, рвется. Впрочем, это могло быть и сущим пустяком, ведь Шурка был очень самолюбив, гордыня так и снедала его.

Так или иначе, но он выгнал молодую жену из дома, хотя она и была уже в положении. Сколько потом ни ревела Валентина, сколько ни просила прощения, Шурка был неумолим. Фотографию, на которой они были сняты вдвоем, разрезал ножницами пополам и половинку с Валентиной порвал на мелкие куски и выбросил в печку.

После этого Шурка запил по-черному, и жизнь его пошла, как поезд под откос. Чуть не каждый вечер являлся он домой «неможахом», ночью колобродил, орал, никому в доме не давая ни сна, ни покоя.

Пил, пил – решил уехать в Сталинград, на заработки. Не знаю уж сколько он там побыл, но и там, видать, показалось не сладко, вернулся и снова за свое, снова пьянки – гулянки...

Кое-как Шурку уговорили жениться во второй раз. В жены теперь ему сосватали деревенскую девушку, оставшуюся без отца, без матери, Зою Пшеничникову. Зоя была и к хозяйству срушная, и матери помощница хорошая. И

покорной была женой, слова поперек никогда не скажет. Как и Валентина, Шурку все Сашей звала. А не любил ее Шурка, всю жизнь так за деревенщину и держал.

Что правда, то правда – института благородных девиц Зоя не кончала. Чуть не половину слов она произносила на свой манер, не на свой собственный, а на принятый в простонародье.

- Саша – то рабатат, работат, а денёг-ту все нету. Лементов скоко вычтут, а что останетца – все пропиват... А жрать-то чево-то надо. Дак ище за лектричество плати, за радиво плати... Где их денёг-ту набратца? Да все ище грит- плоха я ему жона!...

«Плоха жона» родила Шурке наследника, и надо ли говорить, что назвали его Сашей. Житуха стала еще веселей. Года на три Шурка с семьей уезжал жить в Заволжье. Мытарил, мытарил – наконец обрыдла ему такая жизнь без своего угла, и решил он строить свой дом. На выделенном для строительства участке построил хибарку – временку с одним окошком и принялся за возведение собственного дома. Строительство затянулось на многие годы. Шурка, конечно, запросто построил бы дом года за два, если бы не беспросветное пьянство. Сколько горя натерпелась с ним бедная Зоя!

Придет, бывало, плачет:

- Сашу-то опять с работы выгнали!... Третьей день ничево не жрёт, лежит – подыхат... Ковшом воды из ведра зечерпнет, попьет да опять на постель. Говорю: «Саша, хоть бы ты канпотуку попил». А он: «Иди ты на тур со своим канпотиком». Сходил хоть бы ты с им поговорил чёво.

Приду я к Шурке, он сядет на постель по-турецки, лохматый, весь щетиной оброс, желтый и тощий. Сидит, слушает, и слезы по впалым щекам текут в три ручья. Посмотрит на меня воспаленными глазами – и виновато, и с укоризной, и с дикой тоской, а губы дрожат и шепчут:

- Помереть бы уж мне...

И все же Шурка – долго ли, коротко ли строил, – а поставил – таки дом, каменный, с водяным отоплением. Нанимал только каменщика стопу сложить, остальное все своими руками делал, от фундамента до резьбы на крылечке. Да вот пожить-то ему в своем доме не пришлось...

Полы еще оставались не покрашены, и так что-то еще по мелочи было не доделано, но перебрались Шурка с Зоей жить в новый дом, надоело во времянке-то ютиться. Только перебрались, а у Григория Ивановича, у Клавиного мужа, день рождения подоспел – пятьдесят лет! – хорошая дата.

Шурка в тот раз и выпил-то немного, какая-то тоска томила его, и домой ушел раньше всех. Один ушел, без Зои. Дома лег спать, и прижался боком к печке, уснул да больше и не проснулся. Трудную жизнь уготовал ему Господь, зато легкую смерть послал...

Трагичной оказалась судьба и сына его Саши. У него и жизни-то, можно сказать, никакой еще не было. Отслужил в армии, вернулся домой. Вскладчину с друзьями купили они моторную лодку для развлечения, так – кататься. Повадились ездить на другую сторону водохранилища в пансионат «Буревестник» на танцы. Дело молодое – перед танцами выпьют, после танцев добавят.

Что случилось в ту ночь с друзьями-приятелями, когда возвращались они с танцев домой, так как следует и не разузналось, но перевернулась лодка посреди водохранилища, погиб, утонул Саша.

Зоя почернела от горя, разболелась вся, продала дом и уехала жить к сестре в Заволжье.

Строил Шурка дом, сажал около него деревья, растил сына, а оно вон как все вышло...

Там, в избе деревянной

Дом наш был пятистенный, то есть был разделен на две половины рубленной стеной. Та половина дома, что выходила окнами в улицу, передняя его часть, почему-то называлась задней, а другую половину называли просто избой. Я долго недоумевал по этому поводу.

- Как же это так? - спрашивал я маму, но она вставала в "избе" так, что "задняя" действительно оказывалась сзади.

- Што тут непонятного? Видишь? Это - изба, а там - задняя...

Я вставал наоборот, и "задняя" становилась впереди.

- Это ты уж поперешной такой уродился. Это тебе уж матери надо все делать и говорить поперек!...

И только совсем недавно я нашел, кажется, ответ на этот каверзный вопрос. В избах старинной постройки, шестистенных, разделенных на две половины сенями, жилой обыкновенно была передняя часть, а задняя - нежилой, холодной.

У нас же чистой, нежилой комнатой наоборот была передняя, но именно из-за того, что она была холодной, ее и звали "задняя". Сени же, или коридор, а по-нашему мост, находились сбоку дома. Из сеней две входные двери вели одна в "заднюю", другая в "избу".

В избе сразу же по левую руку от входа широко располагалась матушка-печь. От угла печи до противоположной входу стены идет реечная перегородка с проемом, отделяя закуток от остального помещения. Тут мама стряпает, управляется у печи, так этот закуток и называется - "упечи", или "упечь", так и говорили:

"Сходи-ка, возьми в упечи хлеба."

В упечи у мамы все стоит и лежит на своем раз и навсегда заведенном месте. Рядом с печкой разместился проеденный

по низу мышами залавок с горшками, плошками и кашниками.

А дальше, за залавком, стоит у стены широкая - не меньше полуметра шириной - скамья, а на скамье, в углу, большой ведерный самовар.

Самовар - он здесь, в упечи, пожалуй что, и есть самый главный, как генерал над всей остальной утварью. А уж если почистит его мама в субботу или к празднику ядреной закваской, о ! - тогда уж он и совсем весь важный и форсистый из себя становится, и на козе к нему не подъедешь!

Когда самовар надо согреть, его ставят на пол на подставку к печке подтопку, поближе к печной отдушине. Выгребет мама из только что протопленной большой печки жаровых углей на шесток и длинными специально для этого предназначенными щипцами кладет их в самоварное нутро. Черная самоварная труба, сделанная в виде буквы "Г" одним концом надевается на самовар, другим - в отдушину. Под тягой живые еще, жаркие угли разгораются хорошо, и самовар закипает быстро.

Но это если утром. Днем, чтобы поставить самовар, без хорошей смоляной лучины да без старого валенка не обойтись.

Рядом с самоваром стоят на лавке два ведра с водой, а еще большие прокопченные до аспидной черноты чугуны. В них мама греет воду перед стиркой, греет воду и для мытья полов, в них же запаривает тал для плетения корзин.

Зимой в таком вот большущем чугунке завсегда стоит на лавке парешка. Поутру закладывает мама в чугуны понемногу всего того, что имеется в подполье - свеклу и морковь, брюкву и репу, положит и картошки и тыквы, и даже репчатого луку. Это "ассорти" ставит париться - тушиться в большую печь. Час - другой постоит, и вот ломти тыквы становятся коричневыми, рассыпчатыми, а свекла аж-черной.

Поставит мама чугунок на лавку, и мы, ребятня, целый-то день возле него в упечи крутимся, уписываем парешку. С парешки тяжело в животе не бывает, она там долго не держится. Это с тяжелой пищи дурно бывает, и сны снятся нехорошие, а с легкой - и в теле, и на душе легко.

Есть у мамы еще и поменьше чугунок, в нем она варит на семью картошку в мундире. Вынет чугунок из печи, глянь - а мундиры -то и лопнули все по швам!

Щи, похлебка - это все, понятно, в горшках варится, их в залавке штук пять, если не больше, все они разной величины. О горшках что вроде бы и говорить, горшок - он и есть горшок. Но среди всей этой глиняной братии есть два таких, что как-то особенно привлекают к себе взгляд. Они иссиня черны и не только оттого, что прокоптились в печи, они и с нови были черны. Это в старину специально делали такую черную посуду. Способ был такой - при обжиге вытяжку в дымоходе у горна делали минимальной, а топливо в него подкладывали смоляное, чтобы дыму-копоти было побольше. Вот этот черный дым и проникал в стенки глиняной посуды, сажа смешивалась при обжиге вместе с глиной.

На берегу речки не раз доводилось находить черепки от таких вот старинных горшков, они были черны и с той и с другой стороны, но на изломе хорошо была видна красная прослойка, куда сажа не дошла, не достала.

Перед Пасхой в этих двух больших черных горшках мама томила молоко, а потом заквашивала его сметаной, и получался замечательно вкусный варенец, но у нас это называлось квашеным молоком. Ну, а когда надо было потомить топленого молока к чаю, для этого имелся горшочек поменьше.

Глиняные плошки - тоже различного фасона и величины, и их в залавке стоит не меньше полудюжины, высокие и низкие, с крышкой и без крышки, с ручками и без ручек. В открытой низкой плошке мама делает яичницу или лапшевник, или сухарницу с молоком и яичком. А как

хорошо упревает в глиняной плошке с крышкой тушеная картошка - хоть с салом, хоть со шкварками, хоть с ливером, да на худой конец, и с бараньими кишками. Обросшие жиром кишки промываются в нескольких водах, только как ни мой, а запашок все равно немного остается, но он-то и придает пикантность и своеобразие этому блюду.

Ну а разве можно сварить настоящую гороховую похлебку - разваристую, густую, аж ложка стоит! - без глиняной плошки да русской печки! Кроме такой похлебки делает мама в постные дни и гороховый кисель, а еще и овсяный, и картофельный, и клюквенный.. Кисели она варит в специальных глиняных мисках-кисельницах с узором на дне. Застывший, очень густой кисель, когда его опрокидывали на мелкую тарелку, сохранял форму рисунка, что был на дне.

И вот от этого приятного пустячка уже и сам кисель как бы становился вкусней. Кисель резали ножом на кусочки-кубики, ели с каким-нибудь растительным маслом - с льняным или подсолнечным, с мелко накрошенным луком, кроме, разумеется, киселя клюквенного.

Хоть щи, хоть похлебку, любое варево ели из общего блюда, а вот ложку - ложку каждый знал свою. В числе обычных деревянных ложек были еще и оловянные отлитые отцом, а еще был такой же оловянный уполовник.

В речную перегородку, что отделяла печь от остального помещения избы, забито несколько гвоздей. На одном из них висит решето, на другом сито, тут же две - три косы золотисто-рыжего репчатого лука, две-три вязки беленьких сушеных грибов.

За грибами, когда позволяло здоровье, любил хаживать отец. Во множестве запасались грибами и в ту пору, когда старший брат Шурка пас коров, а потом уж и мы с Витюхой кое-чего приносили из грибных походов. Грибы сушили в вольной печи, в плошки насыпали речного песку, в песок втыкали лучинки, и на них уже нанизывали грибы. Получалось что-то вроде ежика с добычей на каждой иголке.

При таком способе грибы только усыхали, почти не теряя формы и цвета.

Лапша, похлебка, щи - все бывало вкусным с беленькими грибочками. Раза два - три за зиму затевались пельмени, начинка для них иногда делалась наполовину из мяса, наполовину из грибов. И мясо, и грибы, предварительно размоченные и отваренные, мелко-мелко рубились тяпкой в липовом долбленном корыте. Это уж потом мясорубки появились в обиходе. Когда запас грибов был достаточен, недурно в праздничек и грибной пирог загнуть. Да куда хочешь они хороши, хоть ту же картошку потушить - разве плохо?

В самом углу, у перегородки стоит железная кадка с колодезной водой, на стенке кадки жестяной ковшик. Шурка бывало дует, дует чай, чашек семь выпьет, никак напиться не может, и после чаю возьмет да ковшик холодненькой водички хряпнет, по пузу погладит - от как сразу хорошо! В летнюю пору рядом с кадкой стоит еще и глиняная корчага с самодельным квасом, хошь водички испей, хошь - кваску. А квас хоть и с изюмом, а такой ядреный, что все нутро продирает!

В углу над кадкой врезана небольшая треугольная полочка-божница. В упечи мама и молится по утрам, чтобы никому не мешать. Иконы тут древние, черные, Черны они не только от старости, но еще и от того, что подпалило их во время пожара. Мама говорит, что эти иконы почти единственное, что удалось вынести из огня когда горела изба. На одной из них совсем ничего не разглядеть, на другой сквозь темные пузыри и вздутия пристально и строго глядит воспаленно - красный глаз заключенный в вытянутый по горизонтали ромб.

Днем и ночью глядит недреманно и зорко, икона так и называется - всевидящее Око.

Лучше всего сохранилась икона с Николаем Чудотворцем. Это и есть самая любимая мамина икона. К нему, заступнику,

мама обращается со всеми своими большими и малыми бедами и горестями, с ним делится материнскими тревогами, к нему обращается за советом в повседневных житейских делах. Николе Угоднику молится она перед тем как отправиться на пароходе в Горький на рынок торговать чесноком, чтобы послал благополучие и в пути, и в торге. Ему молится, если затеряются где ножницы или наперсток, или очки. Ищет, ищет из сил выбьется, пойдет в упечь, окрестит лоб перед иконами, и ножницы сами собой объявятся и наперсток найдется, а очки так и вовсе сидят на носу.

В упечи под потолком сделаны еще и широкие полати, там тоже немало всякой всячины, но там лежит в основном то, что нужно не каждый день - пирожная доска, скалка, чтобы раскатывать тесто, ну, и сами противни. Пирог мамы любила и умела печь, они всегда у нее получались пышными, румяными, пропеченными и с низу и с верху.

Хорош бывал пирог-рыбник с трескою. Треска тогда стоила дешево. Те, кому была доступна рыба речная, судак да стерлядь, ее, треску, за рыбу не считали, а когда появилась камбала, то на нее поначалу, как на лягушку, и глядеть-то брезговали.

Но не только с рыбой, а и с любой другой начинкой - с ливером, с зеленым луком и яйцами, с морковкой, на худой конец, и с картошкой - горяченький пирог всегда вкусен, а смазанный гусиным перышком, обмакнутым в топленое масло, да с холодным, вынутым из подполья молоком просто объеденье!

Противни нужны еще и для того, чтобы посушить впрок резанные яблоки, лесные и садовые ягоды, навялить к чаю свеклы. Сушеные яблоки, черемуха, малина - все это ссыпалось в котомочки и убиралось на полати или на полицу, свекла же сразу шла в дело вместо мармелада.

Хранились на полатях и совсем уже не нужные круглые противни - формы для выпечки хлебов. Ведь когда-то

хозяйство в семье было крестьянским, надел земли был таким, что позволял сеять свой хлеб, но теперь это все в далеком, далеком прошлом...

В самой избе обстановка весьма скромная и непритязательная. В красном углу под образами стоит большой обеденный стол, у стола приставлены скамья и табуреты. На этот стол и ставят по утрам и вечерам большой чугунок с картошкой в мундире, рядом с ним деревянная в виде стульчика солониха с крупной желтой солью- бузуном. К картошке подается еще и плошка с солеными огурцами, с помидорами, с шинкованной или пластовой капустой. Снятые с картошки мундиры складываются в кучку прямо тут же на столе. Потом шкурки смахиваются со стола тряпкой, и место чугунок занимает его светлость самовар. Мама на выдачу дает каждому из нас по две конфетки-подушечки, и больше не спрашивай, хочешь с этими подушечками выпей две чашки, хочешь пять.

Подушечки бывают кофейные, коричневые, или же медовые, или же вместо подушечек выдается помадка из постного сахара, а то и самодельный, сваренный на плите постный сахар. Время от времени появлялся и настоящий, снеговой белизны, кусковой сахар. Крепость его была невероятной, немалых трудов стоило наколоть его даже и щипчиками. Маленькие, наколотые уже кусочки были остры и крепки, как кремний, во рту они не таяли так долго, что и с одним пей хоть десять чашек.

Стол никогда не покрывается не только скатертью, но даже и обыкновенной клеенкой. Однако столешница всегда чиста и бела, и только лишь в мелких трещинках, да в щелях меж досок засела навеки вязкая чернота. Стол чист от того, что мама постоянно его моет с горячей водой, выскабливая при этом грязь широким ножом - косарем, от чего поверхность его стала неровной, между взгорьями у сучков простираются широкие долины.

Табукеты и скамейки, что стоят возле стола, когда-то были покрашены, но их сиденья, как и столешница, тоже выскоблены добела, до дерева.

В противоположном от стола углу стоит железная кровать с никелированными спинками, с шариками и шишечками на этих спинках. Правда, никель во многих местах облупился. На кровати спят отец с матерью, все остальные летом спят на сеновале, в морозы на печке, а во всякое другое время прямо на полу на набитых соломой матрацах. И матрацы, и драные одеяла, и все остальное рваньё, на котором мы спим, на день убирается за занавеску на полати, что висят под потолком над кроватью.

Что же еще хорошего есть у нас в избе? В простенке между окнами висит старенькое, местами уже облезлое зеркало, под ним тумбочка крашенная голубой краской. В верхнем ящике тумбочки гребни и расчески, Клавдина помада и дешевенькие духи, брошки да заколки, внизу - Витюхины учебники да тетрадки.

У перегородки на маленьком столике под чехлом стоит зингеровская швейная машинка, а повыше плакат - "Все на выборы!". Нарядный плакат, маме да и всем остальным очень нравится - по зимней дороге едут сани-розвальни, лихой парень развернул меха гармони, его со всех сторон облепили румяные девушки в цветастых платках.

А еще на перегородке висят часы-ходики, над циферблатом занятный симпатичный котик, маятник у часов ходит вправо - влево, вправо - влево, а глаза у котика - влево-вправо, влево-вправо. Часы старенькие и ходить они уже устали, отстают, и вот, чтобы они не отставали от быстротекущей жизни, к гирьке, сделанной в виде еловой шишки, подвесили сломанные ножницы.

Рядом с часами висит отрывной календарь, а по-нашему численник. На стенке календаря картинка - розовощекий, только что с мороза, суворовец в черной шинели отдает честь

белобородому дедушке, а позади новогодняя елка в игрушках - "Прибыл на каникулы!".

Зимой в морозные дни как ты ни топи, а все равно в избе холод гуляет. Входная дверь изнутри вся обледенеет, заиндевает. На порог в прихлоп, чтобы не так дуло, положена ватнушка, старая фуфайка, она примерзла ко двери, и дверь в прихлопе примерзла, чтобы открыть ее, нужно по ней несколько раз как следует ногой ботнуть.

В такие дни куры, и петух с обмороженными гребнями сидят в подпечье. Время от времени петух оттуда подает голос, и ему зычным протяжным ревом отзывается теленок Тпрусенька. Корову Дочку как раз угораздило отелиться именно в морозы, и маленькому, слабенькому пока теленку делают в углу за кроватью загородку-закуток. То и дело шуршит от соломенную подстилку упругой струей, а то и шлепает жидкими лепешками.

Когда петуху надоедает сидеть в темном и тесном подпечье, он опрокидывает фанерную загородку, выбирается наружу и отправляется на рекогносцировку местности! Вслед за ним вылезают и куры. Заглядывая во все углы, петух приспустив зад с деловым видом порскает прямо на пол, а то и на половик.

Кроме того, поскольку на дворе морозно и дверь открыть трудно, то по ночам вся семья, все семь человек по маленькой нужде ходят в ведро, что стоит под рамонойником. Вследствие всех этих обстоятельств в избе стоит такой запашок - хоть топор вешай.

Но ничего нет вечного, кончаются и морозы. Тпрусенька отправляется в хлев, куры на свое место. А солнце день ото дня светит все веселее, все золотистее. По живому блеску глаз старших братьев и сестер, по свежему духу, что приносят они с собой с улицы в избу, чувствуется, что там начинается хорошая, погожая пора!

Приходят в свой черед праздничные дни, и преображается наша темная, скучноватая изба. К праздникам особенно

тщательно выдраены голиком с дресвою и вымыты широкие половицы неокрашенного пола. Над столом в красном углу мерцают начищенными медными окладами иконы, перед ними теплится лампадка, или же свечка, прилепленная к краю божницы. Вокруг икон голубые занавесочки с кружевами. Чистые, подсиненные занавески висят и на окнах, а на полу лежат опрятные, тоже ради праздника постиранные домотканые половики.

И даже кровать - все равно что невеста обряжена в кружевные подзоры и простыни, на подушках белые наволочки, и покрыта кровать пикейным хрустящим покрывалом.



Печка

За всю свою жизнь никогда и ни у кого не видывал я такой большой русской печки, какая была у нас. Она занимала чуть ли не четверть помещения жилой избы. Просторная лежанка печки служила основным местом пребывания нашей старенькой бабушки в последний год ее жизни, на печке она и померла. На печку залезал и отец, когда его вконец донимала застарелая болезнь – язва желудка.

Зимой в трескучие морозы на печку забиралась чуть ли не вся наша семья. Кроме меня, основного запечного жителя, на лежанке каким-то образом убирались еще два брата да две сестры. Тесновато было, конечно, но ничего – зато тепло. Мною же столько дней, столько долгих вечеров быто-перебыто на этой печке, что уже с доскональной дотошностью был изучен и исследован каждый кирпич, каждое вытертое в нем углубление или наоборот – выступивший наружу гладкий камушек.

В пору раннего детства многое в доме представлялось мне одушевленным, наделенным скрытой до поры до времени безъязыковой жизнью и силой. Вот и печка казалась похожей на какого-то огромного, немного страшноватого, но нужного, полезного, а порою и доброго зверя.

Проснешься, бывало, утром, а в печной утробе уж воет, гудит огонь, дрова фырчат, потрескивают, а в трубе без конца кто-то бубнит и завывает на все лады. Печь живет, работает, делает свое дело. Мама встала ни свет, ни заря, успела уж Дочку подоить, и печку растопить, а сейчас вот управляется, воюет в упечи с горшками и чугунками.

Пройдет час другой, и кирпичи на лежанке нагреваются, раскаляются так, что голым местом и не прикоснуться, жжет. Но на печке лежит несколько старых вытертых овчин да

худых ватнушек, их всегда можно при необходимости подоткнуть под бок.

В морозные дни под вечер остывающая печь начинала вздыхать, кряхтеть и охать, как наша старая больная бабушка. Тогда мама отправлялась во двор, приносила хорошую охапку дров, вместе с дровами дух ядреного, колючего морозца и растапливала печку-подтопок, которая составляла с ней единое целое, то есть сложена была заодно, только сбоку.

И вот заложены дрова в печку, вот подсунута под них лучина, нащепанная косарем от снятого с загнетка сухого смоляного полешка, вот уже и огонек занялся, перепрыгивая с растопки на дрова. Пять минут - и печка снова, как и утром, начинала содрогаться от бешено клочкотавшего в ее нутре пламени. Придут с работы старшие брат с сестрой, едва разденутся и сразу спиной, ягодицами, ладонями прижмутся к печке – ах, как хорошо!

У печки-подтопка была плита с двумя комфорками, и на плите можно было разогреть ужин, вскипятить чай. Иногда мама варила на плите постный сахар, из новотельного молока делали брынзу.

И все же плитой для приготовления пищи пользовались редко. Эту обязанность добросовестно и четко выполняла русская печь. Как хорошо упревали в ней хоть щи, хоть каша, а тушеная кратошка томила аж до коричневого цвета. Если же в нее бывал положен шматок баранины или свинины, то картошка и совсем была объеденьем.

Наши соседки, приходя к маме, жаловались иной раз, вот-де у пирогов то верх, то низ подгорает, то начинка не пропекается. С нашей печкой такого никогда не бывало, пироги получались пышными, румяными.

И не только это, печка оказывала нам много больших и малых бытовых услуг.

Вот зимним вечером придем мы с Витюхой с улицы после катанья с гор, после игр пальтушки, штаны, варежки – все

промокло и заледенело, а штаны так аж колом стоят. Поругает нас мать немного для порядку, но не так чтобы уж сильно. Разоблачаемся – варежки, носки в горнушку, пальтушки на лежанку, валенки – за трубу. Утром в школу собираемся – все высохло, все тепленькое. И на улице эта ветхая, но прогретая одежонка долго еще сопротивляется притязаниям дедушки Мороза.

Над лежанкой чуть отступя от стены в потолок были ввинчены кручья, а на кручья положены шесты. На этих шестах доходило, сохло белье, сушившееся на морозе на чердаке или на дворе. Какой замечательный, какой чистый дух шел по избе от этого морозного, зачоченевшего белья! На печи сушился на противнях резаный табак. От него пахло не так уж хорошо, но ничего, терпимо.

Накануне праздника на печке за трубой в пузатой большой бутылки бурлила, бродила, желтой пеной пузырилась бражка, в глиняной корчаге подходило, попукивало тесто.

В подпечье засовывали ухваты и кочергу, самоварную трубу и щипцы, железный совок для жаровых углей.

В лютые холода все это из подпечья вынималось, мама помещала туда отогреваться принесенных ею со двора кур и петуха с отмороженными лапами и гребнями.

Летом нагрузка на печку была гораздо меньше, ее топили далеко не каждый день. Обед мама готовила то на керогазе, то на электроплитке, но иногда все же топила и печь, только не дровами, а какой-нибудь щепой, корьем, принесенным с лесопилки. По-настоящему печь топили в праздник, когда надо было стряпать да пирог печь, ну еще в грибную пору, чтобы боровиков впрок засушить.

Мне было лет шесть-семь, и мама посылала меня вспрыгнуть на печь, то открыть, то закрыть, в зависимости от надобности выюшку, задвижку, сторонку. Сначала я делал это бездумно, ну закрыл и закрыл. Но вот и до меня стало доходить что тут к чему, и как хорошо и умно все придумано

и сделано в нашей печке. И тут мама рассказала целую историю о том, как она возводилась.

Дом наш два раза подряд горел. Напасть да и только. Умные люди присоветовали отцу поменять местами двор с избой, на месте двора поставить избу, на месте избы – двор. Отец так и сделал. В перебранной и вычиненной избе настал черед класть печь. Подрядил отец печника. Вот работает печник, выводит свод, выкладывает колодцы. Кирпич к кирпичу подгоняет – комар носа не подточит.

И все бы ладно, да вот отцу казалось, что не шибко торопится печеклад. Уж холода на носу, и отцу хотелось побыстрее закончить это дело. Подойдет вроде бы подторопить печника, а тот в ответ: «Скоро хорошо не бывает».

Ну, ладно. Это отец и сам понимал, плохо делать и он не любил. Но уж вот когда печник стал для украшения печки разные горнушечки узорные из кирпича вытесывать, отец не стерпел. «Слушай-ко, - говорит, - вроде бы это уж и ни к чему. Ведь нам печка в избе нужна, а не узоры да балясины. Тепло бы в избе держалось, щи да каша хорошо упревали и ладно».

На это печник отвечал так: «Павел Петрович, ни на рубль не возьму я с тебя больше того, как порядились. Твое дело принять работу да заплатить за нее, а мое – исполнить. Будет тебе от печки и тепло, будет она и пироги справно печь. А ты, будь добр, дай мне сделать мою работу, как я в ней понимаю. Не торопи.

Ты вот думаешь, что я только для тебя кладу печь, а я ведь ее и для себя делаю. Надо мне еще и руку свою показать.

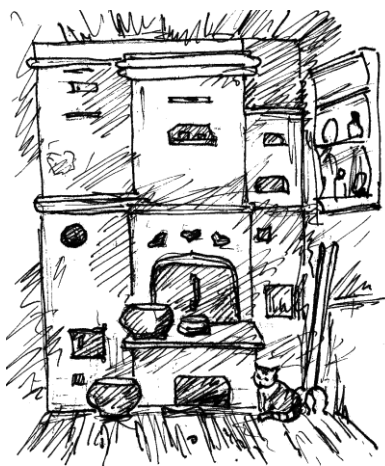
Вот понадобится если кому печь сложить, придут к тебе, спросят – Павел Петрович, уж больно печка у тебя гоже сложена, не скажешь ли кто клал, где проживает? И опять меня позовут, и опять с работой буду. А плохо сделаю – кто позовет, чем семью кормить стану?»

Вот так и урезонил печник отца...

Печка исправно работала многие годы, правда, время от времени, она требовала небольшого ухода. Хоть раз в год надо было вычистить от сажи трубу и боров, он находился на чердаке. Но самое главное – это надо было вовремя вычистить колодцы, которые лабиринтом проходили внутри самого тулова печки. Печник показал отцу, какие именно кирпичи надо вынуть, чтобы добраться до этих колодцев. Мама тоже знала их расположение, и когда отца не стало, чистила колодцы сама.

После такой профилактики печка продолжала все так же старательно кормить и обогревать всю нашу семью. Ее хватило на всю мамину жизнь.

Конечно, кормила и обогревала нас мама, но как бы она это делала без такой «хоросьбенной» печки?



Дуняшка

- Кока, Расскажи сказку!
- Што тебе за сказку? Каки сказки? Ладно-ко отвяжися!,,,
- Ну кок! Жалко тебе што ли?
- Жалко у пчелки в жопке!...
- Ну, кок! Хоть какую-нибудь недлинну...
- Если недлинну - слушай:

Жили были два Тараса -
Вот и сказка началась.
Жили-били два овина -
Вот и сказки половина.
Жили были два гуся -
Вот и сказка вся!

- Кок! Ладно тебе! Расскажи хорошу!...
- Хочешь расскажу про белого бычка?
- Не хочу, я ее знаю!...
- Ты знаешь, и я знаю... Хочешь про белого бычка?
- Не хочу!

Я начинаю ныть и реветь. Мама не выдерживает:

- Дуняшка, ты что ковелишь робенка-то? К чему пристало?

- Да мы так, Маша, дуримся токо...

- Вот и я гляжу, что дуришь...

Долгим зимним вечером лежим мы на печной лежанке троим - Дуняшка с дочерью Валькой и я, совсем малолетний пацанчик.

Дуняшка самая младшая мамина сестра, кому-то из моих братьев и сестер она приходится крестной, но мы все пятеро так и зовем ее кокой. Мама - когда как, то Дуняшкой, то Дунькой.

Кока Дуняшка живет в Никиткине, от нас километров семь. Живут они вдвоем с Валькой в большущем, но старом престаром доме. Дом длинный, как пароход, а крыша вся худая, в бревенчатых стенах дыры - хоть руку суй. Муж Дуняшки, Иван, умер от скоротечной чахотки в первый год войны, когда Вальке было всего-то года два.

В трескучие морозы в таком доме Дуняшке с Валькой жить становится совсем невозможно, вот и приходят они, чтобы отогреться на нашей широкой, горячей, как огонь, печке.

Вместе с ними и я забираюсь на лежанку.

Разомлеет Дуняшка, аж пот прошибет, лень ей даже языком шевелить, А я со сказками пристаю, как банный лист к заднице.

- Ну, кок!...

- Ладно, слушай:

Вот жили были дед да баба,
Ели кашу с молоком.
Рассердился дед на бабу -
Боть по пузу кулаком.
А из пуза два арбуза
Вылетают кувырком!

В это время Дуняшка не сильно, но ощутимо все же толкает мне кулаком в живот. Я опять начинаю ныть.

- Дунька! Ты перестанешь ли, еретица, ковелить робенка-то? Нечего дурака-то валять, давай-ка слазь, посуду вот хоть помой!

Дуняшка, чтобы не мыть посуду, начинает, наконец, рассказывать хорошую сказку про лису, Петю-петушка и котиньку Васеньку. Сказок она знает великое множество и рассказывает их с артистизмом, как у нас в школе говорили, с выражением. Вот и сейчас постепенно вошла в роль:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,

Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку,
Дам и зернышков.

Только выглянул наш Петя в окошко, лиса его и цап-царап!

Изображая, как лиса цапнула петушка, Дуняшка цепко хватает меня за ягодицу. Я вскрикиваю, и вновь на печь летит мамино:

- Дунька, еретица!

Коке Дуняшке в ту пору было лет тридцать, в голове гулял ветер, а руки так и чесались, чтобы что-то созоровать. Не стеснялась она и острого словца, фривольного выражения, соленой частушки. Запомнилась спетая ею в то время припевка:

Видела Тараса,
Он меня туды-сюды,
А я не далася!

Об умершем муже Иване, как ни тяжело было жить одной, Дуняшка не шибко тужила. За три года совместной жизни он успел ей так накрутить хвост, что запомнилось это надолго. И так же, как сказку, с юмором и с выражением рассказывала она впоследствии о выходах своего супруга.

- Ничего мне не доверял, все от меня прятал. Сундучок у него был такой небольшой с нутряным замком. Вот в этом сундучке и деньги, и сахар, и еще что повкуснее - все запирали от меня на замок, а ключ себе на шею вешал вместе с крестом нательным.

Вот утром с постели встает - сразу к этому сундучку. Откроет, глядит: «Дунька, сахар жрала?» «Да ты што, Иван! Опомнись! Ключ -то у тебя на шее, как мне открыть?» «Крепко спал. Снимала ключ. Жрала, жрала сахар!» Да тут и даст мне лупань. А то дак и так - ни за что ни про что даст тычка. «За што? Што я тебе сделала?» «День-то впереди, еще заработаш!»



Денег не доверял ни копейки. И продавал все сам, и покупал все сам. Он охотником был, Иван-от. Вот уйдет он с ружьем по лесу шастать, а мне и радость, што его дома нету, на это дело он, нечего говорить, мастак был. Из леса то зайца несет, то тетерок, то рябчиков. И волков стреливал. За волчью шкуру денег давали...

Но вот как-то простыл он в лесу. Кашлял сильно, и жар, и мочи нет. А дома хлеба ни хлебины, жрать окромя картошки нечего. Дак он што придумал – в Василево, грит, сам идти не могу, давай вези меня на базар на санках, картошкой буду торговать. Накутался, наюмался, навздевал семь одежек, да еще шубник сверху, да платок поверху малахая на башку намотал. Уселся в санки, в ногах мешок картошки – давай вези. Он большой был, Иван-от, тяжёлой. Вот я и перла ево семь - ту верст, а где и в гору везти-то. А он еще и издевается — н-н-но, кляча костлява! Меня зло берет – так бы вот и убила паразита!

Да Господь помог, сам окочурился, царство ему небесно!

- Дуняшка, да рази можно так. Ить он муж тебе был. Чай, он не каждой день уж эдак-то выхаживался.

- Вот и оно-то, што кажный день.

Дурак, так уж дурак был, прости Господи! Помнишь ли, как он россадой-ту торговал?

Мать смеется: «Как не помнить!»

Иван, прознав, что наша мама выручает в весеннюю пору кое-какую денежку от продажи капустной рассады, также решил заняться этим делом. Воскресным майским днем припер из Никиткина на базар целую корзину рассады. Однако то ли сезон посадки уж кончился, то ли притомилась капуста у него, пока до Василева нес, факт тот, что базарный день кончился, а никто ни единой капусты у него не купил. Вывалил тогда Иван рассаду на землю и давай топтать ее ногами. Народ кругом дивится, смеется.

Плохо жилось Дуняшке. В колхозе работать она не любила, да за «палочки» и не хотелось. Зато любила она с Валькой в лес ходить, ягод наберут, продадут – все копейка на хлеб. Грибов на зиму засушат и самим и на продажу. Козу завели как-то, козе корму уж не ахти сколько надо. Ну, и усад был, конечно. Излишки выращенного в усаде тоже можно было по зиме свезти на базар.

Когда Валька вышла замуж и уехала жить в Ковернино, Дуняшка, сгоношив деньжонок, наняла плотников, и те раскатали ее старую большущую избу и поставили в Никиткине же маленький домишко на два окошечка.

Валька совсем молодая умерла от рака, и Дуняшка доживала свой век в крошечном домике никому-то не нужная на всем белом свете.

Праздник

Весной, в конце апреля, перед майскими праздниками, когда тепло приходило навовсе, наконец отмыкали, или как мама говорила, распечатывали «заднюю», а фактически переднюю половину дома. Вынимались из окон зимние рамы, их мыли и убирали на подволоку. Створки летних рам открывались настежь, и вместе с волнами теплого свежего воздуха в комнату залетала еще только что ожившая бабочка. Летние окна тоже мыли мочалкою с мылом, потом окачивали чистой водой из ковша и насухо со скрипом протирали белой тряпкой. Протирали масляной краской крашенные стены, мыли пол. Сколь много радости и предчувствий долгого теплого лета было в этих предпраздничных хлопотах!

И вот в «задней» воцаряется всегда присущий ей уют и даже некая торжественность. Сквозь снеговой белизны вышитые занавески в комнату прорываются снопы света, золотистыми пятнами ложатся они на крашенный желтой охрою пол, на полосатые нарядные половички. Венские стулья чинно стоят в простенках между окон и тускло поблескивают восковой матовостью гнутых спинок. Стол, с фигуристыми точеными ножками накрыт цветной плетеной скатертью, посредине стола – белый никелированный самовар, он тоже накрыт вязаной салфеткой. Этим самоваром и не пользуются никогда, он тут только для красы.

Крайне редко пользовались и нарядной посудой, что красовалась за стеклом высокой горки, хотя уж чего-то особенного там и не было – пузатый графинчик, лафитнички тонкого синего стекла, стопка мелких тарелок, несколько фарфоровых чашек.

Настенное зеркало, что висит в проеме между окнами, прикрыто сверху льняным полотенцем, на концах его вышиты алые маки.

Все свободное пространство стен изувешано фотографиями, помещенными в рамки самого разного фасона. Есть тут и покупные, окрашенные черным лаком, есть и самодельные. Отец очень уж любил делать рамочки. Он выпиливал их лобзиком из толстой фанеры, окрашивал, а потом наклеивал сверху орнамент из цветного стекла, осколков разбитой посуды. Делал еще и так – вырезал стекло нужного размера, по полям рисовал незамысловатые цветы и, выждав, когда высохнет краска, делал уже фон, оставляя незакрашенным прямоугольник для самой фотографии. Стекло с фотографией потом окантовывалось бумагой. Десятки глаз глядят со стен с фотографий старых и совсем недавних, глядят то внимательно и строго, то с наивным простодушием, то с наигранной веселостью.

Вот мамины родители, наш дедушка и бабушка с чадами – мама и ее сестра, обе в малолетнем возрасте, – чинно расположились вокруг бутафорского стола. И у дедушки, и у бабушки по-крестьянски крупные руки, ноги в грубоватой, но прочной обуви. Они были крестьянами деревни Жуково.

Я их не видел никогда, они умерли гораздо раньше чем я появился на свет. Что я знаю про них? Мало, совсем мало. О бабушке, так почти что совсем ничего. Знаю только, что звали ее Анна, тихо и незаметно вела она крестьянское хозяйство, рожала, поднимала на ноги детей, а их было семь человек.

О дедушке мама рассказывала много, но многое с тех пор и выветрилось из памяти. Дмитрий Максимович Луньков, так звали дедушку, был ямщиком, держал тройку лошадей. По словам мамы был он человеком покладистым, доброго нрава. Как и полагается ямщику, любил петь и песен знал множество. От него любовь к песням перешла к маме.

У дедушки кроме обыденной упряжи, предназначенной для повседневных поездок, была еще и праздничная, богато украшенная кистями, снабженная множеством колокольчиков и бубенцов. Упряжь эта была довольно дорогой, ведь каждый колокольчик стоил около рубля. В масленицу дед одевал синий кафтан подпоясывался красным кушаком, расчесывал гребешком на две стороны окладистую русую бороду, и обрядив тройку праздничной сбруей, выезжал в Василево, чтобы катать «с ветерком» всех желающих из конца в конец Большой улицы.

Собираясь в дальний путь, запрягая лошадей, дедушка всегда громко распевал песни, но никогда не забывал и окреститься перед образами напоследок. Один раз заторопился, спешил уж больно, и забыл помолиться. Вот на обратном пути такая метель, такая ли пурга поднялась – свету вольного не видать. Сбились с дороги лошади, занесло их неведомо куда. И стало дедушку в сон закидывать, и чует он, что совсем остыл, замерзает. Однако нашел все же в себе сил, чтоб перекреститься. И как вымолвил только: «С нами крестная сила!», так вьюга стала стихать понемногу. С трудом великим, но и лошади из челка выбрались, дорогу нашли. Слава Тебе, Господи!

После этого случая уж какая ни спешка, а все помолится дедушка перед дорогой.

Ездил Дмитрий Максимович с различными поручениями от Василевского затона и с самим затонским начальством ездил до Нижнего, до Казани. Однажды возил куда-то по делам самого управляющего, после поездки обнаружил в тарантасе серебряные карманные часы. Понес Дмитрий Максимович часы хозяину, возвращает, а тот спрашивает: «Что ж ты братец, себе – то их не оставил? Ведь никто бы и не узнал.» «Да на что ж они мне? У меня, вишь, свои есть, чугунные и ходят хорошо. А что никто не узнает – это неправда. Бог-от – он все видит!...»

Часто ездил Дмитрий Максимович в Нижний Новгород на ярмарку. В одну из поездок взял с собой и свое семейство, чтобы сфотографироваться в ателье у самолучшего нижегородского фотографа Максима Петровича Дмитриева. Обрядили маленьких девчушек в платья с лентами, сами оделись во все лучшее, такими вот и запечатлел их фотограф. А какой у дедушки бойкий и любопытный взгляд!

Рядом с этой висит еще одна фотография в узенькой старой рамке – это мамин дядя в обмундировании служивого царской армии. Стоит он опершись костяшками пальцев о какую-то высокую то ли тумбочку, то ли стойку. Вид у него бравый, лихо закручены кверху усы, локоть манерно отставлен в сторону, пятки вместе, носки врозь, стоит как аршин проглотил. По его безупречной выправке видно, что это не новичок, не новобранец, и верно – дядя Николай верой и правдой служил государю и Отечеству целых двадцать пять лет.

Домой дядя Николай вернулся тяжело больным неизлечимой тогда чахоткой, почти беспрестанно лежал на печи, и пожить ему дома довелось недолго. Маме да и всем другим в семье удивительно было то, что дядя Николай в армии хорошо овладел грамотой, сидя на печи он листал и громко читал вслух календарь.

А вот наш отец, совсем еще молодой, в окружении таких же как и он сам, затонских ребят. Картузы, косоворотки, пояски с кисточками, тросточки в руках, у кого-то на коленях гармонь...

Еще фотография – отец с матерью и с дочерью Клавой, когда ей было всего три года. Это значит тридцатый год. Отец сидит, заложив ногу за ногу, обхватив колено сплетенными пальцами рук. На выставленном вперед ботинке отчетливо видна прибитая к носку подошвы подковка. Отец в тройке, при галстукке, мама в платье с оборочками и с великим множеством пуговиц, нарядное, все в рюшечках платьице и на Клаве. Судя по фотографии - в

семье достаток и благополучие, а ведь именно в эти годы у родителей один за другим умерли от различных болезней трое первых детей, они умерли в возрасте девять, шесть и три года.

А вот отец среди заводчан-ударников в шапке-ушанке, в заскорузлой рабочей тужурке...

Фотография дяди Осипа, маминого брата, здесь он в форме лейтенанта. Орден, медали, португепя через плечо. Дядя Осип прошел всю войну. А взгляд дедушкин – умный, бойкий.

Фотографии маминых сестер с большими и малыми семьями, фотографии наших двоюродных братьев и сестер... Фотографии, фотографии...

И вот приходил день, когда добрая половина тех, кто безотрывно день и ночь смотрел и смотрел со стены с фотографий, собиралась у нас в передней избе – в Троицын день у нас бывал праздник. Гостей собиралось до двадцати человек, а то и больше. Приходили четыре мамыны сестры, приходил дядя Осип с женой тетей Машей, приходила тетя Соня, жена маминого брата Федора, пропавшего на войне без вести, приходили две папиных сестры. Да все еще с чадами, а семьи были немалыми.

У тети Нюры, маминой сестры, что жила в Гумнищах, муж с войны не вернулся, погиб, и у нее осталось шестего ребят на руках.

У тети Сони было пять человек, а она даже пенсии не получала, поскольку дядя Федор пропал без вести.

У тети Маши с дядей Осипом тоже к тому времени человек шесть уже было.

С тетей Машей и тетей Соней казус однажды получился. Вызвали их как-то в район и наградили там медалями «Мать-героиня». Вот вернулись они в деревню, подумали, подумали и решили sprыснуть награду. Выпили по стаканчику, другому бражки, медали повесили пониже пупка

да и пустились в пляс. «Куда это вы, бабы, медали-то повесили?» «А за что наградили туда и повесили!».

Хорошо плясали, да на другой день кто-то из своих же деревенских на них и донес.

Вот опять их в район вызывают. Раз вызвали, второй – судом дело запахло. Ладно нашелся в деревне умный мужик, Володя Ражев, говорит тете Маше: «Режь, Марья, барана, да неси к начальнику-то». Тетя Маша так и сделала, и обошлось дело.

С маминой стороны родни было больше, накануне праздника она в смущении спрашивала отца: «Может, уж Дуняшку-то не звать? А может, Настёнку не звать?» Отец же на это отвечал: «Ну, как же это не звать? Уж звать так всех звать...»

Дуняшка – самая младшая мамина сестра, ее выдали замуж в Никиткино за Ивана Охлопкова, пожили они мало, года три. Иван умер от туберкулеза в начале войны, но и за это время у Дуняшки успела появиться дочь Валя.

В большом старом «тятенькином» доме выпало жить другой маминой сестре – тете Насте.

Я был совсем маленьким пареньком, когда не знаю уж по какому поводу приходили мы с мамой и Витюхой в этот «тятенькин», дедушкин дом.

Он тогда был уже стар и ветх. Помнится, что мы с Витюхой разглядели в сенях то ли за сундуком, то ли за мучным ларем, спрятанный туда олеографический парный портрет императора Николая второго и его жены, императрицы Александры Федоровны. Мы, разумеется, не знали тогда, что это именно царь с царицей, это нам взрослые объяснили. Но объясняли почему-то шепотом, и отругали нас за то, что суем свой нос куда не надо. Судя по портрету, и это было отмечено всеми, и государь и государыня были людьми прекрасной внешности и души, однако их почему-то задвинули за мучной ларь.

Еще запомнился широкий с дырявою уже во многих местах крышей навес, под которым гнили и прели никому теперь не нужные дедушкины тарантасы, дрожки, саночки, хомуты и дуги.

В земляном мусоре валялись позеленевшие от старости литые бубенчики. В одном из тарантасов распростерши руки и ноги лежали тряпичные, сшитые тетей Настей для дочери Шурки куклы.

Трагично сложилась судьба тети Насти. Замуж она вышла по любви за высокого, статного, красивого парня Володю Злодырева. Вот только не было у Володи ни отца, ни матери, потому и стали они жить в «тятенькином» доме. Настёнка так любила своего Володю, что уж и души в нем не чаяла. Появились дети, сначала Шура, потом Витенька.

И вот – война. Как убивалась Настенка, когда отправлялся Володя на фронт! Волосы рвала на себе, когда пришла на него похоронка...

И тут же сразу еще один удар. Пошла тетя Настя по воду на колодец, а совсем еще маленький Витенька мирно играл возле печки-подтопка, а затоплена печка-то была. И колодец-то недалеко от дома, и ходила тетя Настя за водой совсем недолго, но видно уж чему быть, того не миновать. Стряслась за это время страшная беда.

Витенька, оставшись один, играл, играл возле печки и захотелось ему получше поглядеть, как горит, как пляшет веселый огонек в печи. Открыл дверку, рубашонку затянуло тягой в огонь, в один миг сгорел маленький несмышлениш. Как ни выла, как ни билась головой об пол Настенка, поправить ничего уж было нельзя.

И стал с той поры у Настенки понемногу мутиться разум. Жестокие терзания ума и души довели ее в конце концов до сумасшедшего дома, где и закончилась ее так счастливо начавшаяся жизнь.

Но вот гости все оповещены, всем наказано, чтобы не чваниться, а приходить в обязательном порядке.

Накануне праздника мама дня три хлопочет, делает всякие припасы, беспокоится - удастся ли студень, поспеет ли ко времени бражка, размышляет с какой начинкой испечь пироги.

Наконец, приходил и сам праздник. С утра по избе плывут всякие вкусные запахи, пахнет и сдобой и мясом, и тушеной картошкой.

Мама идет в чулан и из сундучка крест-накрест обитого белыми железными полосами, с весело вызывающим замком вынимает свое лучшее платье и батистовое нижнее белье. К существующим уже запахам добавляется еще один – прохладный, водянистый и немножко приторный – нафталиновый.

Отец тоже доставал свой форменный темно-синий китель, какие выдавали тогда отдельным категориям работников водного транспорта. Он тогда работал мастером ремесленного училища, так что и ему такой китель полагался, чем отец очень гордился и отправляясь на базар или в гости, в общем, на люди, обязательно надевал этот китель, предварительно надравив мелом до жаркой яри латунные пуговицы с якорями.

В передней сдвинуты впритык один к другому два больших стола, расставлены вокруг них скамейки, табуретки и стулья. Понемногу собираются и гости – тетя Нюра приходила из Гумнищей, а с нею Юрий, Зоя, Иванко, из Жукова гурьбой являлась целая армия – дядя Ося с тетей Машей, тетя Оля, тетя Настя и тоже все с большими и малыми детками. Все тесней, все шумней в избе.

Малых ребят мама кормит отдельно и отправляет во двор, в огород, чтобы не сновали под ногами.

Наконец дождались и тетю Олю из Кулаева. И Дуняшка из Никиткина пришла. И вот расселась за толom вся наша родня. По очереди ставятся на стол большие блюда то с горячими щами, то наоборот, с холодной окрошкой, то с грибной лапшой, то с тушеной картошкой. А еще и студень

на столе, и пластовая катуста, и шинкованная. Кушайте, гости дорогие, не чваньтесь!

Ну, и конечно же, на столе целая гора пирогов с самой разной начинкой, и ватрушка, и плюшек гора. Ну, и конечно, посредине стола будто колокольня возвышается большая бутылка с бражкой.

Водки покупали разве что только бутылочку для отца с Осипом.

Дядя Осип, захмелев, принимался чихать и чихал раз пятнадцать подряд. Прочихавшись, заводил: Эх, бабы! Вот я уж повоевал так повоевал! А жен-то у меня там осталось сколько! Штук десять! Может и боле! По всей Европе – и в Венгрии, и в Румынии, и в Польше.

Ребят им настряпал – о-о-о! Старался!

Вот Марье медаль дали – «Мать-героиня». Мне бы тоже медаль надо – «Отец-герой»...

Тетя Маша кулаком тюкала мужа по голове: «Мели, Емеля!»

После стаканчика, другого бражки мамины сестры, упревшие, разомлевшие от еды, для начала заводили одну из «тятенькиных»:

Это было давно, год примерно назад -
Вез я девушку трактом почтовым.
Круглолица, бела, будто тополь стройна
И покрыта платочком шелковым...

Немного погодя, после третьего-четвертого стакашка, как ножом по сердцу, полоснет:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?

Кого-то и слеза прошибет. «Полно вам, бабы, выть! – не ведержит тетя Соня. – Чай, праздник седне. Дома навоемся. Ну-ко пошли на улицу. Осип, хватит тебе херовину пороть, бери гармонь, давай шпарь «барыню»!

Рукава, карман, корзинка,
Чулки, варежки, резинка!
Барыня, барыня,
Сударыня, барыня!

И только одна Настенка сидит на месте своем, будто
окаменела, смотрит неподвижными глазами куда то далеко-
далеко. Что она там видит?



Дочка

Моей мама теплой водой свою любимицу корову Дочку, скоблит ей крутые бока железным скребком, скоблит и крестец, и ноги, а сама приговаривает: «Стой, стой, матушка! Стой, Доченька! Ах ты, умница, ах ты красавица-то наша!».

Напоследок мама вытирает Дочку сухой тряпкой, и кирпично-коричневая шерсть на боках красавицы блестит атласным лоском. Другую свежую водичкой мама подмывает Дочке вымя, смазывает соски вазелином и, усевшись поудобней на низкую скамеечку, принимается за дойку.

Подойник сделан из нержавеющей белой жести и служит уж много лет. Чтобы удобней было сливать и сцеживать молоко, у подойника приделан сбоку задиристо вздернутый носик.

Звонкою трелью выпевают, ударяясь в жестяное дно, первые струи молока. Но вот раз от раза все басистее и басистее становится этот упругий звук, и наконец, он делается похожим на брузжанье буркала, что делали мы в детстве из большой пуговицы и крепкой нитки.

Подойт мама Дочку, огладит ее ладонью: «Вот умница, вот кормилица ты наша!».

А Дочка тихо, мирно и благодарно вздохнет в ответ.

Дочка была не крупного, среднего телосложения и баснословно высокими надоями не отличалась, но зато молоко у нее было отменно вкусным, без всяких посторонних запахов. Разве только уж летом иногда горчило немного, и то по вине пастуха, когда он прогонял стадо по какой-нибудь болотистой низине, и коровы успевали нахвататься осоки или другой дурной травы.

У Дочки был смиренный, миролюбивый, покладистый нрав. Говорят, что животные во время общения перенимают

от своих хозяев повадки и характер. Вот и Дочка за долгие годы дружбы с нашей мамой – именно дружбы, иначе и не скажешь – переняла у нее спокойную сдержанность, ровную доброту.

Летом по вечерам, когда стадо возвращалось с пастбы домой, или сами хозяйки, или кто-то из детей, из ребят ходили встречать своих коров в прогон, приманивали их лакомым кусочком – присоленной горбушкой хлеба. Это чтобы не забрела беспутная буренка куда-нибудь на пустырь, в овраг, на чужую улицу, и чтобы не сыскивать ее потом. И Дочку тоже ходили встречать, но это уж так, для порядка, из уважения к ее самолюбию. Чем наша Дочка хуже других? Но если встретить было некому, если всем было недосуг, все равно она шла домой самостоятельно вплоть до самых ворот. Коровы ведь тоже, как и люди, разные бывают. Бывают с норовом, то бодливые, то блудливые. Нерадивых коров пастухи жестоко наказывают плетью. Но кто бы ни пас стадо, жалоб на поведение нашей Дочки никогда не было.

Самая главная забота при содержании коровы – запасти ей на зиму достаточное количество сена. В поселке существовало общество животноводов, и сено для коров заготавливали на специально выделяемых покосах, на гривах, на островах, в Суходоле. Отца долгие годы мучила язва желудка, тяжелую работу выполнять ему стало непосильно, и последние лет пять, если не более, на покос вместе с мужиками отправлялась мама.

Высушенное, готовое сено привозили на лошади, затем его подавали на сенницу во двор, и тут уж принимали участие все – и отец, и старший брат с сестрой. Когда же, наконец, со всем этим бывало покончено, мать снимала с головы белый плат, вытирала им потное, усталое, обожженное солнцем лицо и, оглядев всех по очереди притомленным, но теперь уже довольным взглядом, выдыхала: «Слава Тебе Господи! Слава Тебе Пресвятая Богородица! Теперь с кормом!...»

С этого дня мы, ребята, перебирались спать на сенницу, и до чего же духовито, в первое время даже до головной боли дурманяще пахло это свежее сено! Говорят, что Лев Толстой в одном из ящичков своего письменного стола держал пучок душистого сенца, чтобы лучше писалось.

Да, без сена корове не прожить. Приходила зимка, и Дочка похрустывала, да похрумкивала этим вот душистым, насквозь пропитанным витаминами сенцом и вновь день за днем давала замечательно вкусный, питательной, животворной силой наполненный продукт – молоко.

Но вот его, молока, день ото дня становилось все меньше и меньше, и наконец наступала пора Дочку запускать, то есть переставать доить. Внутри ее чрева был уже плод, который требовал для роста вот этих самых питательных соков.

Проходил положенный срок, и вот наступали для мамы полные тревожных ожиданий дни и ночи. С озабоченным лицом приходила она всякий раз от Дочки со двора, вздыхала и охала, поминала и пресвятую Богородицу, и Николая-чудотворца, никак не могла найти себе ни покоя, ни места. И ночью – ворочается, ворочается на постели, слезет, фуфайчонку накинёт, валенки с галошами насунет, да опять с керосиновой лампой к Дочке.

Наконец, приходил он, в таких волненьях ожидаемый день. Только чаще всего это был как раз и не день, а самая-то что ни на есть холодная, морозная ночь. Что ни год, а Дочку нашу опять почему-то угораздит растелиться ночью. Мама – среди ночи-то! - всполошено бегала то из избы на двор, то со двора в избу, то и дело хлопала дверь, впуская внутрь белые облака морозного воздуха. С ведром заранее припасенной теплой воды, с тряпицами опять выбегала во двор, в мороз и темень.

Отел обыкновенно проходил благополучно, и мама со всеми необходимыми в таком разе делами управлялась сама. Дело привычное, не в первый год, не в первый раз. Но вот было как-то, что теленок шел из утробы не как полагается, а

не поймешь и как – то ли боком, то ли задом. Как ни тужилась, как ни ревела Дочка, как ни старалась помочь ей мама, а все никак, ничего не получается. Корова измучилась, ревет нехорошим, дурным голосом, и мама измучилась, тоже ревет!

Что делать?! Отчаявшись в попытках сделать что-либо самой, мать послала кого-то из старших к ветеринарше, тете Шуре Солдатенковой:

«Бегом, бегом бежи! Живо!»

Хорошо еще, что тетя Шура жила недалеко от нас и через каких-то пятнадцать – двадцать минут была уже в хлеву около Дочки.

Опытной рукой тетя Шура выправила, направила теленка на путь истинный, помогла ему выпростаться на божий свет. Отошло, отвалило от сердца у мамы!

Новорожденного теленка в лютый мороз в хлеву оставлять было никак нельзя, и его переносили в избу. Отодвигали от стены кровать, делали загородку, и таким образом получался небольшой хлевец. На пол потолще стелили свежей соломки и укладывали на нее пока еще слабенького, беспомощного теленка.

При выборе имени для теленка ни ум, ни фантазию особенно не напрягали. Если это был бычок, его называли Миронко, если телочка – Зорька. Но чаще всего, особенно на первых порах, теленка, будь то бычок или телочка, звали просто, Тпрусенька.

Уже наутро Тпрусенька пытался встать на собственные ноги, хотя поначалу у него это и не очень-то получалось. Ноги разъезжались в разные стороны, и его, будто пьяного, поматывало, пошатывало. Но ничего, мало-помалу теленок привыкал, осваивался в этом новом для него мире, ограниченном пока стенами заутка. Поддоешное, первотельное молоко шло только теленку, и он его пил вволю, сколько хотел, и потому день ото дня креп да креп.

Сколько радости доставлял он нам, этот глупый, потешный Тпрусенька! Темно-лиловые глаза его глядели из-под длиннющих, пушистых ресниц то по-цыгански томно, то пугливо, то лукаво, то озорно. Он то тыкался в ладонь мокрым, сопливым носом, похожим на размокшую горбушку хлеба, то принимался лизать протянутую руку ласково-шершавым языком.

Чуть подросши, уже норовил и бодаться маленькими бугорочками, едва еще только выступавшими на лбу. То и дело находил на него игрун, и он, взбрыкивая задом, вскидывая задние ноги, принимался прыгать по тесной загородке.

Молока Тпрусенька пьет вдосталь, поэтому то и дело шуршит упругой струей в соломенную подстилку, а то и шлепает увесистыми лепешками. Солому приходилось менять несколько раз на дню.

Вот и холода спадают, и основательно подросшего Тпрусеньку отводят на двор, в хлевце. Теперь его увидеть доводится не так часто, но все равно нет-нет да выйдем мы с братом навестить озорного приятеля.

Тпрусенька рос и креп, не зная, не ведая своей печальной участи, а участь всегда, каждый год у всех «тпрусенек» была одна... После того, как бычка забивали, нам, ребятам в утеху вместо воздушного шара надували и вешали сушить у печной отдушины его мочевой пузырь. Но нет, не хотелось что-то играть такой игрушкой...

В начале мая коров уже начинают помаленьку приучать к пастьбе. Полгода не видевшие вольного света буренки шалели от яркого солнца, от свежего, ядреного воздуха, они трубно и утробно ревели, задрав хвосты гонялись друг за дружкой, пытались поддеть рогом в бок. И только наша Дочка степенно и смирно шла себе прогоном, не обращая внимания на придурковатые выходки товарок.

Проходила неделя, другая и корма в лугах, в пойме Санахты становилось вдосталь, по вечерам коровы сытые и

довольные с надутыми животами, с переполненным выменем неторопливо шли прогоном к своим хозяйкам, к своим дворам. И целое-то лето Дочка опять давала такое замечательное, такое вкусное молоко!

Его, молока, было бы хоть упейся, хоть залейся, если бы не существовавшие тогда драконовские установления. Половину, а может и больше Дочкиного молока надо было отдать государству, из оставшегося значительная часть шла на продажу на базар. Ведь семью из пяти человек надо было накормить, и обуть, и одеть. А на какие шиши? Но все-таки что-то от Дочкиных надоев оставалось и нам, в семью. Во всяком случае молочная тюрка с ржаным, а иногда и с белым хлебом была моей обычной, повседневной, как сказала бы мама, «ежей» во все время, пока Дочка стояла у нас во дворе и если она не была в запуске.

Года три после смерти отца мама все еще держала корову. Запасти сена на зиму помогал ей старший из моих братьев, Леска. Но вот и у мамы возьми да появись нехорошая, опасная болячка. После тяжелой операции ее, казалось бы, несокрушимое здоровье пошатнулось, покатилося под гору. Сено косить ей стало не под силу. Да и годы брали свое, как никак ей шел шестой десяток. Дочку, как ни жалко было, а пришлось свести со двора, продали. Пусто, печально стало на дворе. А сколько печали было у мамы! Продали Дочку не на дальнюю сторону, а кому-то из жителей нашего же поселка, и она долго не могла привыкнуть к своему новому месту обитания и к новым хозяевам.

Первое время, когда стадо вечером возвращалось домой, Дочка какими-то обходными путями приходила к нашему дому, к своему двору. Упрется рогами в ворота и протяжно, зычно, тревожно ревет. Слюна изо рта гужами висит чуть не до земли. Никак не возьмет в толк Дочка, почему ее не пускают, за какую такую провинность отдали в чужие руки после стольких лет праведной службы.

И час, и два стоит Дочка у ворот, пока не хватятся да не догадаются прийти за ней нерадивые новые хозяева. А мама слушает, сморит в окно, а у самой сердце на части разрывается, кровью обливается. Слезы к горлу подступят, душат. Крепится, крепится да и потекут сами собой горькие слезы...

После Дочки завела мама козу. «Ей сена не то, что корове, а все будем со своим молоком», - рассуждала она.

Долго мы не могли привыкнуть ни к норовистой, блуднястой козе, ни к ее молоку. Все казалось, что пахнет оно негоже. Но постепенно Зинка – так мы звали козу – стала усваивать манеры более менее приличного поведения. Мало помалу и мы втянулись в козье молоко. И когда Зинку запускали, то купленное на базаре молоко казалось уже вода водой. Шло время, старшие сестры и братья поразошлись, поразъехались из дому – кто женился, кто вышел замуж, кто уехал учиться. И остались мы с мамой вдвоем. Тогда и коза уж нам стала в обузу. Да ведь кабы одна коза. А поросенок, а куры, а усад в двадцать пять соток? Поди-ка попробуй со всем управиться. Избавились мы и от Зинки.



Борька

Но вот что уж всегда было на дворе, так это поросенок да куры.

... Бывало, где-то в самом начале мая, мама только еще подходит к дому, а уж по визгу, доходящему с улицы, ясно, что она сегодня идет с базара с поросенком. Вошедши в избу, она ставит на пол корзину, вынимает из мешковины похрюкивающее, повизгивающее белобрысенькое существо.

Ах, какой молодец! Ах, какой красавец! Красивенький, кругленький, чистенький! На ушах, на спинке сквозь беленькие волоски розовеет кожа, нежно розовеет упругий влажный пяточок. Хитровато, озорно, глядят на божий мир сквозь белые реснички маленькие черные глазки.

Поросят всякий раз называли одинаково, что ни поросенок, то Борька. Если конечно, это была на свинка. Свинок мать почему-то держала редко.

Немного освоюсь, новоявленный Борька, приложив уши к затылку и стуча копытцами, принимался носиться по избе из одного угла в другой.

На скользком полу копытца Борьки разъезжаются в стороны, и он опрокидывается на бок или даже на спину. Но тут же вскакивает, снова мчится и вдруг, резко развернувшись на сто восемьдесят градусов, встает как вкопанный. Полнобуйтесь, какой я ловкий!

Поправят Борьке хлевце-загородку на дворе, постелют туда ворох сухой соломы – ну что ж, давай, живи!

В прохладные дни Борька с головкой зарывается в солому, так что его совсем даже и не видать. И только когда к хлеву подходят с кормом, с наведенной в ведерке баландой, высовывает он из соломы свою хитроватую мордашку, а

через минуту с вожделенным хрюканьем и чавканьем суется возле корыта.

Борькина жизнь не была преисполнена каких-то особых событий и радостей, поэтому сущими праздниками были для него дни, когда его выпускали из хлевца на улицу. Это бывало обычно ближе в вечеру, когда спадала жара. Едва почуяв свободу, Борька мчался, как очумелый, не чуя под собой ног, сам не ведая куда. Я же опасаясь, что Борька может убежать далеко, мчался за ним вдогонку. В конце улицы он резко менял направление движения на противоположное и пулей неся прямо на меня. Я едва успевал отступить, а Борька жарко шаркнув по моей ноге щетинистым боком, летел дальше. Эта игра в догонялки доставляла ему неопишное удовольствие.

Но вот он где-нибудь в придорожной канаве находил не просыхающую даже в летний день лужу и с разбегу плюхался в нее. Повертевшись в грязи с боку на бок, он, наконец, замирал там с выражением неизъяснимого блаженства на своей поросычьей харе. Я потихоньку подкрадывался к Борьке с хворостинкой. Он делал вид, что ничего не замечает, нежился и улыбался, прикрыв хитрющие глаза, выжидал до последнего момента. Но только стоило мне замахнуть хворостиной, как он срывался с места, летел, как ужаленный, и все повторялось с начала.

Загнать Борьку в хлев не было никакой возможности. Когда же мне, наконец удавалось его поймать, то он довольно ощутимо поддавал клыкастой щекой по ногам, по рукам, изо всех сил пытаясь вырваться и сбежать. Вконец уморив меня, но и сам уморившись, он забегал в открытые ворота двора, а потом и в хлев и, словно бы опасаясь порки, сразу же зарывался с головкой в солому. Порку Борька заслуживал, но после такого его маневра разбирал смех, а злость как - то сама собой проходила.

Бывал у Борьки и печальный день. Это когда к нам домой приходила ветеринарша тетя Шура Солдатенкова. Я уж знал

для чего она заявлялась и всегда в этот час уходил на улицу, чтобы не слышать Борькиного душераздирающего визга. Да куда там - и на улице слышен был этот вопль. Сделав свое дело, тетя Шура уходила, но после нее еще долго витал едкий запах йода, а у Борьки под спиралькой хвоста несколько дней чернели два маленьких, но таких страшных, продольных шрамика.



После такой экзекуции Борька на прогулках бывал не так уж резв, как прежде. Теперь вместо беготни он больше ковырялся в куче у забора, куда сбрасывали разный хлам и мусор. Как рад бывал Борька, когда ему удавалось раздобыть

кусочек кирпича! С явным удовольствием, прикрыв белесые ресницы, он крушил его, будто рафинад, на крепких молодых зубах. И по-прежнему не забывал принять грязевую ванну в своей любимой придорожной луже.

Время шло, Борька рос, нагуливал жирок. Щетинка его становилась упругой и жесткой, желтовато-серой, а кожа грубела, местами шелудивела. То одним, то другим боком терся он о доски загородки и очень любил, когда его чесали хворостинкой меж лопаток, на заргивке или на животе. Тогда он ложился в повалку, и, зажмурив глаза, блаженно вздыхал и хоркал.

Приходила осень, все реже и реже выпускали Борьку гулять. Аппетит же его день ото дня все возрастал, и он прося есть, без конца выводил в своей загородке тоскливые, жалобные песни. Хорошо, что на огороде к этому времени была уже и картошка, полно было и всякой ботвы, которую мама варила для Борьки в огромном чугушке.

Вслед за осенью приходила зима. Когда морозы устанавливались навовсе, мама начинала призадумываться о чем-то о своем, однако вслух ничего не говорила. И вот приходил он, этот жуткий день. Накануне его мама ходила к нашему соседу Василию Куделину, и с самого того момента тоска и боль занозой вонзалось в сердце.

Василий приходил с утра, на кухне для смелости пропускал станакчик водки, занюхивал скроем хлеба и отправлялся в хлев с длинным узким, страшным ножом.

Я что есть мочи зажимал ладонями уши, но все равно и тогда был слышен этот дикий, все нутро выворачивающий предсмертный вопль.

Мама то и дело бегала в хлев с чугушками горячей воды. К обеду все было готово, и Борькино тело белело на дворе подвешенное за щиколотки задних ног к верее сенницы. В поджилках щиколоток делались надрезы, в них пропускался деревянный брусок, за него-то и подвешивалась на крепкой веревке обожженная паяльной лампой и добела выскобленная

свиная туша. Полость живота была пустой и чистой, в межреберье поставлена деревянная распорка, а чтобы их, ребра, пошире развести, на спине меж лопаток делелась разрез.

Борькина голова с прикушенным серым языком, с полуприкрытыми глазами, ножки, опаленные паяльной лампой, но еще не выскобленные, черные, а потому воняющие палятиной, все это лежит на рундуке. Давно ли вот эти копытца так резво и смешно стукали по скользкому полу в избе, давно ли этот пяточок так настырно и требовательно тыркался в ладонь? Влажный туман сам собой застит глаза, и ноет, зудит в сердце заноза...

Василий же деловито с мылом умывал во дворе руки, насухо вытирал их чистой тряпичей и под дымящуюся свежееобжаренную печенку не торопясь доделывал бутылку водки.

Куры и петушки

Говорят, что куры – дуры. В детстве мне довольно часто приходилось наблюдать за поведением кур, и эти наблюдения не позволяют согласиться с таким утверждением. Скорее – куры хотят показаться дурами, прикидываются, строят из себя дурочек-простушек, а сами себе на уме.

... Весною, в мае, посадит, посеет мама на огороде морковь, свеклу, горох и другой прочий овощ, тщательно укроет грядки лапником от разбойников грачей, от ворон и галок, и у тех вроде бы не хватало то ли ума, то ли наглости растаскать рассаду из-под маскировки. Не таковы куры. Как только горох посеян – как они узнают об этом? непонятно! – от кур нет спасу.

Вот они гуляют себе около завалинки дома мирно и скромно, как и подобает порядочным домашним птицам. Вот неспеша, с видом безмятежным и равнодушным ко всему на свете, справа и слева поклевывают камушки, стеклышки, подбираются к поленице, выложенной у забора. Одна за другой взлетели на поленицу, перелетели через забор. Все это тихо, незаметно, без шума и пыли.

И вот они на грядке. С поразительной стремительностью – откуда только такая прыть? – расшвыривают лапничек, будто граблями расшвыривают в сторону землю, выискивая, выклеывая так тщательно заделанные и укрытые семена.

- Ах вы, курвы! Ах вы, стервы! – ору я, бросая в кур комья земли или даже камнями, если это куры не наши, а соседские. Куры тут же поднимают истошный крик, как будто их убивают или режут, бросаются к забору, сполошно суются в его щели. Пролезть в щель никак не удастся, и они, оглушительно кудахтая и хлопая крыльями, наконец-то перемахивают через забор поверху.

Через минуту они тихо и мирно, как и полагаются порядочным, культурным домашним птицам прогуливаются возле завалянки. Через десять минут с видом безмятежным и равнодушным шажок за шажком подбираются они к поленнице...

Всякими, разными словами называл я тогда кур, но только не дурами!

... Это уж в последние годы мама стала приносить с инкубаторной станции, как она называла, «детдомовских» цыплят, из которых вырастали наглые, нахальные куры, одну от другой не отличить. А раньше цыплят высиживала курица-наседка, и все курочки были чистенькие, аккуратненькие. И нарядные – рябенькие, пестренькие. Петушок – так уж петушок, золота головушка, масляна бородушка.

Когда куры становились старыми и начинали плохо нестись, их постепенно переводили. Но не сразу всех, а только когда цыплята вырастали в молодок, и молодки начинали нестись.

Это бывало, конечно же, не каждый год. Каждый год обновлять поголовье совсем ни к чему. И вот когда начнет какая-то из кур приклохтывать с намерением сесть на яйца – возьмет мама пучок крапивы да задницу клохтунье и нахлещет, а потом под бук сунет, чтобы квохтать было неповадно.

Иногда это помогало, а иногда обиженная клуша уходила куда-нибудь на зады, в глубь усада или за баню, там в непролазных зарослях высокой травы устраивала гнездо и, нанеся достаточное, по ее мнению, количество яичек, усаживалась на них.

Мать посылала меня поискать пропавшую блудную курицу, и я в конце концов ее находил. Строго и жутко выглядывала беженка из-за густых сплетений стеблей полыни, лебеды, дудок сныти и прочей травы своим неподвижным круглым глазом. Находил, но матери не сказывал. Не нашел да и все. Сам же тайком, чтобы мать не

видела, носил клушке поестъ и попить, хоть она в такие дни почти нечего и не ела.

Мать погорюет, попричитает немножко о пропащей курице да и забудет.

Но вот через какое-то время она появлялась во дворе вся из себя деловая с целым выводком пушистых комочков-цыплят, то и дело топыря и раздувая на боках перья, заботливо приговаривая что-то несмышленишам –деткам на своем курьем языке. Так появлялся на дворе незапланированный приплод.

Ну, а если приплод был запланированным, то нередко приходилось наблюдать и сам момент появления цыпленка из яйца на божий свет. Когда наступал положенный срок, с яйцами происходили удивительные превращения.

Вот яйцо само собой взяло и треснуло, и трещины неровно разошлись по его округлости. Вот в одном месте откололся уголок, треугольничек скорлупы отвалился, и там, внутри что-то зашевелилось. Это что-то барахтается все энергичней, и скорлупа разламывается, и какое-то мокренькое, щупленькое, совсем слабенькое существо выкарабкивается оттуда на волю, готовое к жизни, а через несколько мгновений и к движению.

И всегда в присутствии такого явления на свет новой жизни удивление и необычное волнение охватывали ум и душу. Как же тут было не удивляться, если на глазах происходило настоящее чудо! Из яйца, в котором недавно совсем не было ничего, кроме белка и желтка, да еще какого-то скользкого жгутика, которое несколько дней назад можно было тюкнуть об угол стола и выпить утром натошак, или зажарить на сковороде, или сварить вкрутую, опустив в тряпице под крышку кипящего самовара, и вот из этого яйца чудесным превращением образовывалось живое существо, пусть еще совсем беспомощное, но все уже у него на своем месте – и черненькие бисеренки глаз, и лапки с крошечными коготочками, и клювик, и какие-то нелепые култышечки по

бокам, которые совсем скоро превратятся в крылышки. Где теперь тут белок, где желток? Чудо да и только!

... Инкубаторские цыплята попервоначалу выглядели тоже вполне симпатично, но где-то через месяц израстались, зады становились у них мокрыми и грязными, а на тонкой шее сквозь тощую растительность проглядывала красная кожа. Может это было и от недостаточно питательного корма, от нехватки в нем каких-то витаминов. Ведь кормили-то в основном вареной картошкой чуть-чуть только сдобренной хлебцем.

Однажды у такого вот тощего и голенастого экземпляра, не цыпленка и не курицы еще, выскочила над глазом на голове лиловая шишка, похожая на фурункул. Время шло, а шишка с желтой точечкой посередине не только не пропадала, а росла и лиловела все больше и больше.

И вот как-то к этому цыпленку подошла старая курица, внимательно осмотрела лиловую шишку и сильно, метко клюнула в самую-то желтую точку, выдрав из опухоли все гнойное жерело.

Вскорости у цыпленка все зажило и заросло над глазом. А мама, думая, что не рак ли тут у него, хотела уж было отрубить ему башку да закопать где-нибудь за баней. Вот так непорядок во внешности цыпленка-недоросля побудил старую курицу произвести это целительное оперативное вмешательство.

Среди инкубаторских петухов попадались весьма агрессивные экземпляры. Был и у нас один такой. Он начал с того, что стал нападать на маленьких трехлетних и пятилетних ребят, а обнаглев, не давал проходу уже и взрослым, в особенности женщинам. Завидя объект, он зло округлял янтарный глаз, раза два-три что-то яростно склевывал с земли, выпускал из-под крыла длинное перо так, как будто финку вынимал из-за голенища, и коварным разбойничьим маневром — догнав сзади — вскакивал избранной жертве на загривок.

Мои нравоучения и внушения с помощью камней и палок петух что-то в голову не брал, и однажды, затаив, видимо, обиду и зло за эти мои воспитательные действия и решив отомстить, напал и на меня, причем совершенно неожиданно и, как всегда, коварно, сзади, когда я накачивал колесо велосипеда.

«Ах ты, тварь неблагодарная, - кипело у меня все внутри. – Ты забыл, негодяй, как я тебя поил, кормил, дохляка, чуть не изо рта, когда ты еще по чайному блюдечку своими кривыми грязными лапами топал? Ну ладно, погоди!»

И вот припрятав за пазухой крепкую деловую палку, стал я прохаживаться мимо крыльца будто бы даже совершенно к петуху равнодушный, нарочно вставал к нему спиной. Петух что-то заподозрил и не спешил нападать. Однако соблаз одолел все же его, когда я присел и наклонился к земле, будто бы ища что-то потерянное в траве. Он вскочил - таки мне на спину, но тут же сброшенный, получил четкий, резкий удар по темечку. Петух упал, протянул желтые длинные лапы, глаза его подернулись голубой пленкой век.

«Никак убил, - испугался я .– Мать теперь лупань даст.» Да уж что-то и жалко стало петуха.

Но петух, отдохнув немного, встрепенулся и как ни в чем не бывало, побежал к курам, точь в точь так же, как это делают «травмированные» игроки в нынешнем футболе.

Примечательно, что петух после этого клеваться перестал. Видно, удар палки угодил ему как раз в ту самую точку его куриных мозгов, где генерировались его агрессивные замыслы.

Изо всех петухов, что когда-либо предводительствовали семейством наших кур, особенно запомнился один экземпляр с довольно необычными повадками и нравом. Уже с отроческого возраста, как только начала формироваться его петушина конституция, в походке его, в манере держаться явственно и определенно стала проявляться военная выправка.

Петух был не тощ, но сухопар, подтянут. Небольшой, купеватый хвост он почему-то все время опускал к земле, а голову наоборот тянул кверху, оттого и казалось, что стоит он как бы вытянувшись во фрунт. В такой позе он мог стоять довольно долго. Затем сделает пол-оборота вправо или влево, и снова та же стойка. Если же у него, наконец, вызревало решение куда-нибудь прошеествовать, то он так высоко поднимал и так далеко выкидывал одну за другой длинные крупные лапы, что само собой приходило на ум сравнение его с марширующим на учебном плацу служивым. Вот так появилось и прилипло к петуху прозвище – Гренадер. Эту кличку оправдывали несколько необычный окрас оперенья – верхняя часть его мундира была красно-черной, в то время как «рейтузы» почти что белыми. Ни дать, ни взять – гренадер!

С отроческой же поры у петуха стал прорезаться и со временем все более и более креп на резкость пронзительный, оглушительный звонкий голос, в результате чего у него появилась еще одна кличка – Горлодер.

Когда петух как личность оформился окончательно, свое умопомрачительное «кукареку» он задавал раз по десять подряд, причем последнюю ноту тянул так долго и старательно, что начинало казаться, будто он намеренно щеголяет своими незаурядными способностями.

Послевоенные зимы были необыкновенно морозными. В холода куры и петух часто обмораживали лапы, гребни, бороды. В такие дни кур приходилось приносить домой и засовывать в подпечье. И тут петух, обрадованный теплу, стараясь выразить благодарность, признательность, принимался выкликать свой клич с особой старательностью и гораздо чаще, чем обычно. Днем уж ладно, хоть и без особого восторга, но все же можно было это как-то терпеть. Каково же было слушать его арии посреди ночи, а ведь он за ночь давал по несколько концертов!

К тому же петуху иногда удавалось как-то уронить прикрывающую лаз фанеру, он вылезал из-под печки наружу и тут, на свободе давал песняка во все свое луженое горлышко. Петуха с руганью водворяли на место, а он совершенно искренне недоумевал, почему ему в награду вместо восторга и аплодисментов такая безапелляционная грубость.

Однако куры от его серенад и, конечно же, от него самого тащились, млели, были без ума. И не только наши куры. И не только те, у которых не было собственных петухов.

Гренадер был воистину храбрым и воинственным петухом. На второе же лето одного за другим он стал вызывать на дуэль соседских петухов и одерживал победу за победой.

У бабки Дуни петух был грузный, грудастый. Степенный и умный, первым драки он никогда не начинал, но и спуску не давал никому, кто бы ни посягнул на его честь и достоинство или на честь его подопечных пеструшек. Когда Гренадер в первый раз подскочил к нему с взъерошенным загривком и с ничем не обоснованными претензиями, исход разборки сразу же был очевиден. Одного удара грудью бабки дуниного петуха хватило, чтобы Гренадер ретировался. Отлуп получил и во второй, и в третий раз, а все не унимался. Но вот при очередной сшибке Гренадер – может это вышло и случайно – так высоко подскочил вверх, что бабкин петух по инерции без задержки пролетел под ним да получил еще вдогонку удар шпорой под задницу. Бабкин петух встряхнул гребнем, как бы желая сказать: «Не понял!...» И петухи, склонув с земли камешек – другой, вновь сшиблись, и вновь не получилось удара. Гренадер снова применил тот же прием, только теперь уже вцепился когтями противнику в загривок. И бабкин петух отступил, словно бы признав сокрушенно: «Понял...» А понял он то, что сколько не бейся, а так высоко, как Гренадер, ему все равно не выпрыгнуть.

Вот и стал наш Гренадер во всей улице первым забиякой и бабником. Маме такое поведение петуха было не по нутру: «Экой нечистой дух! Мало тебе своих курец! Мало тебе свово двора! Вот возьму топор да оттяпну твою глупую башку!»

Справедливость требует сказать, что и своих кур Гренадер на произвол судьбы никогда не бросал, неслись они исправно и аккуратно.

Однако жизнь выдающихся личностей чаще всего не бывает долгой и счастливой. Печальная участь постигла и нашего петуха.

В конце третьего лета своей жизни Гренадер вдруг ни с того, ни с сего заболел. То ли кто из соседей пришиб его, уж больно прыток и вездесущ был петух, совался куда надо и не надо и, чего греха таить, нередко совершал дерзкие вылазки в соседские огороды, а может сам склюнул что-нибудь непотребное, но только сник наш Гренадер. Совсем перестал кушать, и петть перестал, все лежал только на пригреве у крылечка, прикрыв глаза лиловою пленкой век, не поймешь – то ли живой, то ли нет. День лежит, другой лежит – что делать? Так маме и пришлось ему голову оттяпнуть...



Гуси

Бывали у нас и гуси. Они, покуда имели вид маленьких, пушистых комочков, доставляли всем немало умиления и радости.

Мать посылала меня пощипать как-будто специально для них росшей у двора гусиной травы, и они с аппетитом кушали ее, мелко настриженную ножницами, с чайного блюдца и с этого же блюдца запивали свежей колодезной водой.

Через несколько дней гусята траву щипали уже самостоятельно, смешно вздергивая вверх попки с треугольными хвостиками, иногда спотыкаясь и падая от непосильной пока работы.

Без надзора ни гусят, ни цыплят спервоначала оставлять было нельзя. Не увидишь, как ястреб или коршун, а скорее всего кошка сцапают. Так что нередко приходилось гусятам и в клетке под сеткой посидеть. Под сетку гусятам ставили тарелку с размоченным в воде хлебом. Клетку с сеткой время от времени переставляли на новое место, на свежую травку.

Но вот гуси подрастали настолько, что оставить их одних уже не было опасно. С самого утра они отправлялись на реку и целый день пропадали там, проводя время в свое удовольствие. Там же они и кормились, выискивая в иле различных козявок, жучков-червячков, паслись на берегу, щипали травку и вновь дружною стайкой плавали по глади реки, время от времени оглашая окрестность гортанным криком. И только уже поздним вечером, на закате солнца неспеша вперевалячку возвращались они домой, степенно и чинно выступая друг за другом — да, да вот именно — гуськом!

Собравшись у двора, гуси обступали меня кругом, вытягивая шеи, дружески, небольно пощипывали, пощекотывали за обстреканные цыпками икры и щиколотки. Как будто соскучившись по мне за день, нешумно погогатывали, приговаривали, запрокидывая набок головы, заглядывали на меня снизу черными бусинками глаз.

Вечером гусей подкармливали. Я выносил им во двор деревянное корыто с мелко натяпанной картошкой вперемешку с хлебом, и гуси принимались за еду без суеты и жадности, а только негромко переговариваясь между собой, как дружная артель степенных работников за вечерним ужином. Воровки куры подскакивали к корыту то справа, то слева. Но гуси как-то не обращали даже на это внимания.



Вольготно жилось гусям у реки, и каких-то особенных хлопот они не доставляли.

К осени, когда воздух становился студеным, а трава у двора поутру куржавилась белым инеем, гусей охватывало некое беспокойство. Утром, по пути к реке, или вечером по

дороге домой, они с громким, тревожным криком распахивали во весь размах огромные, окрепшие за лето крылья и, разбежавшись, пытались оторваться от земли. Иной раз им это удавалось, наиболее сильные пролетали метров по пять, по десять. Самым ретивым крылья приходилось даже подрезать. Какой-то инстинкт, унаследованный от давних диких предков, до сих пор звал их в неведомую даль.

В отличие от хитрых и лицемерных пройдох кур, бесхитростных до наивности гусей я любил всей душой, и до слез было жалко, когда им с наступлением морозов одному за другим отрубали головы.

На всю жизнь запомнился мне и мой собственный первый и последний крайне неудачный опыт по обезглавливанию живого существа.

В это время мне было уж лет пятнадцать, мы с мамой жили вдвоем, все старшие братья и сестры, разъехались кто куда. И вот по осени мама решила поручить мне эту операцию по усекновению гусяиной головы.

- Поди-ко сходи оттяпни гусю башку.

- Я не могу.

- Да что это за «не могу»? Я старуха – могу, а ты не можешь. Вот ложкой из похлебки гусятинку ты можешь таскать.

- Я не могу!

- Да ты што? Чай, ты мужик, пора привыкать. Нечего дурака-то валять. Давай-ко, давай иди!

Кровь бросилась мне в голову. Руки, ноги сделались ватными. И вот на ватных ногах, плохо что соображая, вышел я во двор. Взял топор что потяжелее. Выбрал жертву, выбрал того, что стоял поближе и с простодушным любопытством, повернув голову, заглядывал на меня снизу вверх.

Гусь ничего плохого даже и не подозревал, даже и не сопротивлялся. Когда я положил его голову на широкий кряж, он доверчиво глядел на меня даже в такой неудобной

позе. А руки дрожат, руки трясутся. Не думать бы в это время ни о чем, а как?

Тяпнул раз – сильного удара не получилось. Тяпнул второй раз, посильней, с грехом пополам отрубил голову. Но гусь вырвался у меня из рук – тело его надо было зажать в коленях, а я этого не знал. Обезглавленный гусь стал шарахаться по двору из стороны в сторону. Мечется, а кровища из горла, как из пожарного шланга хлещет по стенам двора налево и направо.

Бледный, как мел, и перепуганный, вбежал я в избу.

- Ты что?!!

- Все. Больше в жись никогда не пойду! И не посылай лучше! И никакой твоей гусятины мне больше не надо!

Гусятины и правда я больше не ел. А мама гусей больше не заводила.

Случай же этот так сильно отпечатался в моей душе, что после уже ни вольно, ни невольно не загубил я ни единой живой живности.

Улица родная

- Вот так уж и выбрали местечко старики! Куды глядели, чем думали? Ведь это надо только придумать – на самой-ту болотине выстроиться! – до старости не переставала возмущаться мама, в особенности во время весенней распутицы, когда докучала непролазная грязь, что стояла на нашей улице чуть не до середины мая.

- Люди везде уж в тапочках ходят, а через нашу болотину и в резиновых сапогах не проберешься!

И в самом деле, если один порядок улицы располагался на более или менее сухом месте, то другой – противоположный, через дорогу – пусть там и всего-то четыре дома, уходил в сырую низину. Самой же главной неприятностью и препятствием для пешеходов являлись два овражка, что протянулись недалеко друг от друга в самом начале улицы. Мокрота из них распространялась прямо через дорогу в заросшую осокой ложину, которая и летом была настоящей болотиной.

Но зато в улице, где и было-то не более полутора десятков домов, стоит три колодца. А если было бы на то желание жителей, могло быть и больше, ведь у каждого дома – копни пять раз заступом – тут тебе и вода появится. Колодцы все неглубокие, в одном из них вода и вовсе на одном уровне с землей. Нагнешься через край сруба, посмотришь на дно, а там, вздымая серый песочек, пошевеливая кудрявые зеленые водоросли, будто дымки из печек, курятся, кучерявятся в нескольких местах упругие буравчики выбивающихся из под земли ключей.

И какая же в наших колодцах замечательная вода, чистая – светлей слезы, холодная, аж зубы ломит, и такая вкусная, что вкусней ее просто и нет на всем белом свете!

У нас дома в упечи стояла кадка с такой колодезной ключевой водой, жестяной ковшик висел сбоку на стенке кадки, и воду эту пил всяк и за всякое время, как только захочется. Потом, после родного дома, где только ни приходилось бывать, но нет – не встречалось воды слаще нашей!

Кроме колодцев, рядом с болотистой низинкой, которой заканчивались овражки, откопаны два ключика – родника, один поменьше, другой побольше. Роднички ни срубом, никакой другой оградой не огорожены, и небо в них, будто в блюдечках, отражает свою синь-голубень.

В маленький ключик в летнюю пору в жару бабы ставят на ночь четверти с вечерошним молоком, чтобы оно не скисло до утра.

Я маленьким пацанчиком одно лето вплоть до глубокой осени, до заморозков все бегал на этот ключик умываться по утрам. Плеснешь в лицо, на грудь, на шею по две-три пригоршни ледяной обжигающей влаги, и весь сон тут же как рукой снимет, весело сразу же станет, петть и прыгать хочется. Зазвенит, запоет обрадуется кровь в каждой жилке, и пулей летишь домой после такой процедуры.

Из маленького ключика вода незаметно сквозь заросли перетекает во второй, он уже побольше, это как бы уже и прудик, и в нем все лето напролет купаются гуси и утки. То и дело вздергивая треугольники хвостов, подгребая красными лапками, они занырявают в глубину, выискивая на дне каких-то козявок и червячков, а когда наныряются и наплаваются вдосталь, то улягутся рядом, кучкой в тени старой раскидистой ивы.

Сейчас, по прошествии многих и многих лет, я думаю, может, мама и напрасно тогда пеняла на стариков. Может, кому-то из них, с душою незамутненно-чистой, уж больно глянулись эти роднички с хрустальной светлой водицей, глянулись и подтолкнули, надоумили поставить возле них

первое жилье. Одному приглянулось местечко, другому – вот и выросло какое-то поселение.

Кто они были, эти первые люди, – Бог их ведает! Давно уж минули те времена и быльем поросли. Расспросить бы об этом наших стариков, может, кто и вспомнил бы и рассказал что-нибудь, да где они? – давным-давно их нет на белом свете. Но и они, старики наши, коих мне довелось застать в моем детстве, они тоже были каждый со своей какой-то особенной причудой, каждый чем-то интересен. А ведь если бы вот сейчас не рассказать о них, то никто никогда и не вспомнил бы о их существовании, но они были – были, ходили по земле, радовались солнечному свету, порою печалились, горевали, тосковали.

... В тени от вековой липы на врытой в землю лавочке возле темного и, должно быть, тоже векового дома, понуриив голову, неподвижно сидит древний старик. Столетний? Да нет, не столетний, конечно, это только вид у него такой, но где-нибудь под восемьдесят есть. Курчавая, кудлатая голова его стрижена по-старинному под кружало. Несмотря на старость, шапка пепельно-серых волос непролазно густа. Седина у иных стариков бела, как снег, у иных желтовата, а у Кирилла Павловича она сера, как будто зола. Окладистая борода его тоже такого же цвета.

В линиях, подпоясанной ремешком рубахе-косоворотке, в полосатых штанах, с суковатой палкой в корявых, узластых руках Кирилл Павлович, казалось, задержался в жизни еще с того, давно минувшего века.

Жена, Вера Ивановна, то и дело его костерит, ругает, то за неповоротливость, то за несообразительность. Кирилл Павлович к тому же еще и плохо слышит, всю жизнь котельной работой хлеб добывал, оттого и оглох. Вот тетя Вера что-нибудь кричит, кричит ему в ухо, потом не выдержит, вспылит: «Черт ты глухой!» И тогда Кирилл Павлович уходит на улицу, садится на лавочку у завалины дома, кладет натруженные руки на палку, бородой в них

упрется и сидит так час, другой, думает одному ему известные думы. А иной раз уйдет на зады дома, в сад, к любимым яблонькам, там у него тоже есть лавочка.

Кирилл Павлович доводился дядей нашему отцу, поэтому и нас, мальцов, привечал, признавал за своих, поэтому и был для нас просто дядя Кирилло.



И вот, если идет дядя Кирилло откуда-нибудь мимо нашего дома, увидит нас с братом, подсядет к нам то ли на крылечко, то ли на завалину и начнет рассказывать о былом, о прошлом. Рассказывал, помнится, как в молодости вместе с нашим отцом на заработки во Владивосток ездили, да ведь уж больно мал я был тогда и мало что понимал.

Дом у дяди Кирилла не только стар, но и построен по-старинному – с сенями и крыльцом напротив сеней, с теплой и холодной половинами избы. А за домом – хороший сад, вот тут-то и находил да и сейчас находит отраду для души Кирилл Павлович.

Такого сада, как у него, больше ни у кого в улице и не было. Во-первых, оттого, что даже и те немногочисленные яблони, что когда-то были в наших огородах, даже и они погибли в жестокие морозные зимы военных лет. Во-вторых, при таких семьях, с какими остались без мужиков наши матери, не до садоводства было, овощами же можно и семью прокормить и скотину кой-какую содержать.

А яблони что, они так – забава. Вот и в наших огородах по две, от силы по три яблони, куст терновника да куст крыжовника.

Кирилл Павлович свой сад в морозные зимы сумел сохранить. Стволы лапником обвязывал, снегом заваливал да утапывал, солому в морозные ночи в саду жег.

Теперь сад уж не так был ухожен, как прежде, терновник, вишенья, слива – все так разрослось, одичало, заглохло. И яблони все старые, пораскинули свои ветви далеко-далеко. Многие рогульками подперты, а кроны вверху сомкнулись и образовали тенистый шатер.

На некоторых яблонях у дяди Кирилла привиты по два, по три сорта. Прививать деревья он любил, и рука у него на это была легкая. О прививках, о сортах яблок, об особенностях и о достоинствах всякого сорта Кирилл Павлович мог говорить много, а поскольку слушателей среди взрослых жителей нашей улицы у него, можно сказать, что не было, то он не упускал случая поделиться тем, что его так занимало и радовало, хотя бы с нами, малыми ребятами.

Когда приходил черед и поспевал какой-то из его любимых сортов, дядя Кирилл приходил к нам и угощал то белым, то розовым наливом, то сухой сладью, то золотой китайкой, то анисом.

И если сидит дядя Кирилл на своей скамейке у дома, то тоже никого не пропустит, чтобы не угостить наливным яблочком. Это доставляло ему истинное удовольствие, и яблоки из рук Кирилла Павловича были по особенному нарядны и вкусны.

Вот поэтому, наверное, даже отъявленные огольцы совестились лазить в его сад.

Да, я тогда был слишком мал, и все же запало в память то главное, о чем говорил дядя Кирилл. А он пытался втолковать нам, что деревья, все деревья, а сад в особенности, это благодать, это отрада жизни, что без дружбы с деревьями человек нищ душой.

Жизнь самого Кирилла Павловича как раз и походила чем-то на жизнь дерева. Немногословный и медлительный, не у деревьев ли научился он безропотно и стойко сносить все повседневные тяготы, тихо и не напоказ радоваться маленьким праздникам проходящих дней.

Жена его, Вера Ивановна, женщина мудрая, рассудительная, но властная, всю жизнь держала и без того смиренного супруга в ежовых рукавицах. Тетя Вера частенько по-свойски навещала нашу маму, чтобы расспросить о делах, дать совет. Нам, малым ребятам, уж обязательно принесет завернутый в чистую тряпицу какой-никакой гостинец – то тепленьких картофельных оладьев, то вкусных, рассыпчатых колобушек, а то и пирожка.

Когда не стало отца, она приходила особенно часто, все наставляла маму, учила жить, и мама выслушивала ее наставления терпеливо, ни в чем не переча. Но как только за тетей Верой закрывалась дверь, мама с добродушной усмешкой ворчала: «Ишь, прызыдент какой выискался! Без тебя, уж, чай, не знают, что да как делается!...»

По соседству с Кириллом Павловичем живут Куделины. Василий Иванович работает механиком на МТС, а МТС рядом, только дорогу перейти. У них с женой, тетей Нюрой, двое ребят – Валька и Витенька. Вместе с ними в семье живут и родители Василия Ивановича, они уж старенькие. Много удивления и даже некого почтительного страха вызывал самый старший из всего семейства Витенькин дедушка Иван Васильевич.

...Зимний денек с ядреным морозцем, солнечный свет слепит и режет глаза. Солнышко повернуло на лето, зима на мороз. Вдоль улицы тянется прочищенная в глубоких сугробах дорожка, от нее идут ответвления к каждому дому, к каждому крылечку. Развалы снега, обращенные к солнцу, розовые, золотистые, а в тени – синие-синие, что твоя синька. И вот над высокими сугробами снега показалась, ныряя, черная каракулевая шапка, вот показался и весь этот старомодный, несуразный человек, маленький, большеголовый, в ветхом пальто, в больших серых валенках.

Мы, ребята, прекращаем на миг свою игру, раскрыв рты, бесцеремонно палимся на чудного дедушку. А он вон как чинно и важно шествует, вон как строго стрельнул в нас большими глазищами сквозь колесики очков. Идет, как бы даже немного откинувшись корпусом назад, седую бородкой упершись в отвороты наглухо застегнутого каракулевого воротника. В руках у дедушки авоська полная книг.

- Иван Васильевич в библиотеку пошел!

Среди взрослых обитателей улицы книголюбцев, кроме Ивана Васильевича, больше никого не было. Грамоты маловато было, даже и читать умели не все, а кто умел – до книг ли, до чтения ли было при той жизни и нужде? Копали огороды, сажали, сеяли, выращивали, убивали овощи, содержали скотину, заготавливали сено и дрова, вели хозяйство, ходили на работу те, у кого она была. Поэтому и смотрели на Ивана Васильевича хоть и с почтением, как на грамотея и человека преклонных годов, но в тоже время с некоторой долей снисходительности – ну, что же, бывает и так, пусть почитает.

Один из внуков Ивана Васильевича, Витенька, мой ровесник. И не то чтобы уж друг закадычный – нет, но все же товарищ, приятель по каждодневным уличным играм и затеям, поэтому нет-нет, да и приходится забежать к ним домой по какому-нибудь неотложному делу. И когда бы ни

зашел - зимой или летом, утром или вечером, Иван Васильевич занят одним – сидит и читает.

Сидит он на краю лежанки русской печки, в исподней рубахе и безрукавной душегрейке, на ногах огромные серые валенки. Ноги утверждены на верхней ступеньке приставленной к печке стремянки, а на худых коленях лежит большая раскрытая книга. Огромная, лысая, несоразмерная всему остальному голова, посаженная прямо на плечи, и плечи к тому же еще чуть вздернуты, скомканная пепельная борода, на носу очки в светлой металлической оправе с выпуклыми толстыми стеклами. Взгляд его бледно-серых глаз, увеличенных этими стеклами до невероятных размеров, и строг, и всевидящ, и жуток. Кажется, уж не сам ли бог Саваоф взирает с высоты печной лежанки на все, что шебуршит и мельтешит внизу на полу. Вот еще и какой-то шпанец-оборванец пришел, чей таков, что ему надобно?

У Ивана Васильевича больные легкие, постоянно кашляет, иногда кровью. Пытаясь вылечить, он пьет детскую, Витенькину мочу. Когда болезнь сильно донимает, ему и поесть и попить подают на печь, и спит он на печке.

Временами Ивану Васильевичу становится лучше, и когда приходит облегчение, слезает он с печки, одевается и идет в библиотеку. Иван Васильевич книг набирал целую авоську, чтобы чтения хватило надолго, чтобы не так часто слезать с печки.

Некоторые слова, такие как «молодежь», «библиотека», «роман», Иван Васильевич произносит на свой манер, по-старинному, с ударением на «о». Так вот, что за романы читал он, сейчас сказать трудно, однако судя по тому, что для него все те годы выписывали журнал «Новый мир», можно предположить, что его романы не были просто чтивом для развлечения.

... Стар Иван Васильевич и болен, отжил свое. И все же ... и все же – пока еще живой, а раз живой, то в голове возникают разные мысли, и хочется порой поговорить с кем

нибудь. Да вот то-то и оно, что с ним давно уж никто и ни о чем говорить не хочет. Вот и находит он собеседников в книгах. И сидя на лежанке печки вновь и вновь волнуется, радуется, печалится. Вновь живет!...

Витенька Ивана Васильевича называет «дедко», а бабушку «стара мамонька». Стара мамонька, тетя Липа, тоже читает, и ее книги тоже толстые, даже пожалуй потолще дедушкиных. Но ее книги другие – церковные, с обтянутыми кожей, но сильно потрепанными обложками, с медными застежками, с коричневыми от древности, негнущимися и тоже потрепанными страницами, по которым, будто черные жуки, разбежались крупные, однако же непонятные буквы.

У Куделиных всякий год устраивается для малых ребят новогодняя елка, и тетя Липа каждый раз с большим искусством вырезает и клеит для нее различные украшения – цепи, нарядные гирлянды, снежинки и звезды. На елке висело множество сделанных из ваты и раскрашенных игрушек – клоуны, яблочки, груши. К елочному хороводу тетя Липа сама наряжалась дедом Морозом, и под конец всем ребятам вручала по бумажному кулечку с гостинцами. Нашему счастью не было границ!

Что говорить, почтенного возраста людьми были и Кирилл Павлович, и Вера Ивановна Лукины, и Куделины Иван Васильевич с тетей Липой, но никого в улице не было древней, чем бабка Дуня Ратманова.

... Собачка на крышке самовара откинута, упругая струя серого пара устремляется вверх чуть ли не к самому потолку. В самоварной утробе глухо ворчит и бормочет крутой кипяток, вместе с тем, там внутри, что-то еще и попискивает и тихонько поет.

Бабка Дуня едва успевает вытирать пот с красного, как маков цвет, лица. Полотенце, что перекинута через шею, все-то насквозь мокро, а пот все льет и льет в три ручья. Многочисленные морщины на лице расправились,

разгладились, а в глазах отражается полнейшая душевная благодать.

Любит бабка Дуня чаевничать. И чай пьет только когда вода в самоваре кипит белым ключом. Разные есть на этот счет мнения, кто говорит, что это вредно, что можно пищевод кипятком обварить. А есть и такая версия, что кипяток, резко охлажденный в плоском блюде, - а бабка Дуня, конечно же, чай пила с блюдечка, - очень даже благотворно влияет на оздоровление организма. И в нее, в эту версию, верится, поскольку бабка Дуня никогда ничем не болела и жила очень долго.



Спросят у нее: « Сколько же тебе, бабка Дуня, годков-то стукнуло?» «Дак девяносто, чу...» Пройдет два ли, три ли года, опять спросят ее про лета, а у бабки Дуни все тот же ответ: «Дак девяносто, чу...» Сбилась бабка Дуня в своих годах со счету.

Росту бабка Дуня высокого, но года согнули ее в пояснице, и ходит она с длинной, чуть ли не в свой рост, палкой, которую называет «товарищем». Одежда на ней давнишняя-предавнишняя, ветхая-преветхая, от давности все ее кофты, юбки и пальтушки выгорели, полиняли, приобрели одинаковый бледно-серый цвет. И сама она тоже вся

выцвела, волосы поседели до какой-то пегой желтизны, и глаза выгорели, полиняли, смотрят откуда-то издалека-издалека...

Живет бабка Дуня одна в маленькой и тоже серой, ветхой, вросшей по самые окна в землю избушке, довольствуясь совсем немногим. Продаст на базаре зелени с огорода или каких-нибудь овощей, на выручку купит сахарку, хлеба и соли, когда так и четвертушку водки. Но чаю – это уж непременно, и самого лучшего, индийского или цейлонского. Придет домой пропустит чарочку, попьет чайку, потом выйдет в огород, сядет на завалинку позади дома, потихоньку себе под нос песенку замурлычет.

Нрава бабка Дуня смиренного, со всем и со всеми на свете она живет в согласии, ничто не может вывести ее из ровного созерцательного состояния духа.

Бабке Дуне полагается пусть хоть и маленькая, но какая-то пенсия – то ли по старости, то ли за умершего мужа, то ли за погибшего на войне сына. Но сноха ее, тетя Нюра, под тем видом, что бабка Дуня недееспособна, ухитряется эту пенсию получать сама, да почти что и не дает ей никаких денег. Но бабка Дуня и не знает ничего об этой пенсии, думает, что сноха дает ей денег от душевной щедрости, когда та даст ей какие-нибудь рублишки на хлеб.

Летом еще ладно, летом еще терпимо век вековать бабке Дуне, а вот зимой приходится сурово. Ветер так и гуляет в ее худой избенке, в углах по утрам белые зайцы – за ночь промерзают насквозь. И не мудрено, в стенах щели – хоть руку суй. Затыкает их бабка Дуня льняным омяльем, затыкает, да толку что.

Но ничего, все терпеливо сносит бабка Дуня, сносит и это. С непоколебимым душевным спокойствием встречает она каждый приходящий день, никогда не жалуется ни на людей, ни на судьбу, если солнышко светит – радуется солнышку, если холод да темень-ну, что же, и это послал Господь. Все от Бога.

... И у тети Шуры Тардовой в лютые морозы тоже холодно в избе. Дом ее только что размером побольше бабкидуниного, а все такой же ветхий и худой. Семья у тети Шуры большая, да детки все на стороне, кто где. Муж то ли на войне погиб, то ли так от болезни какой умер, этого я уж не упомяну.

И вот когда вконец дойдет холодрыга, тетя Шура приходит к нам погреться.

- Мотри, Лександра, вшей мне тут не натряси! – то ли в шутку, то ли всерьез скажет мать.

- Што ты, Машенька, что ты, матка! Тут у плиты-то гляди-ко-какая жара-то – если и спрыгнет котора, тут же лапы протянет, шагу не шагнет.

В печке-подтопке глухо и мерно похохатывает огонь. В щели комфорок плиты виднеются его рыжие всполохи. Тетя Шура расстегивает замусоленный свой ватник, разматывает грязное вафельное полотенце, намотанное вместо платка на голову.

У тети Шуры избу топить совсем нечем, на дрова разобрана изгородь усада, теперь потихоньку разбирается и двор.

Разомлеет у печки тетя Шура, распеленается, мама чаем с вяленой свеклой ее напоит. Отойдет, обмякнет немного и начинает рассказывать всяческие истории о порчах и заговорах, о нечистой силе, о том, что привиделось на той неделе или даве.

- Полно-ко ты, Лександра городить незнамо-то чево. Чудится тебе все это только!..

- Ей крест, матка, не вру, провалиться мне вот на этом месте! Вышла, это дело-то, вчера я на двор по нужде, гляжу – батюшки мое светы! – сам-от и стоит у ворот, к верее прислонился и вроде как ухмыляется. Так я, матка моя, и обомлела, так ножиньки-те сами и подкосились. Говорю, это дело-то, - чево, мол, стоишь? Чево лыбишься? Где эстолько-

то время пропадал, где тебя черти-те носили? Чево дожидася, чево не идешь в избу-ту?

Говорю эдак-ту, а он руки-те вот все куды-то сует, вот норовит спрятать. Гляжу, матка ты моя-та, а когтищи-те на пальцах вот эдаки, а руки-те черны да волосаты. Говорю ему, это дело-то, что когтищи-те отрастил? К чему пристало?

А он как ощеритца, как ошестинитца, из зенок-ту как полыхнет зеленым полымем, да и норовит вцепиться в меня когтищам-ту. Еле-то еле успела я, матка, окреститься – Господня крестна сила, спаси и оборони! И все, и нету никого, только вроде как дымок синёй на том месте, где сам-от был.

Мокрые, лиловые губы тети Шуры извиваются будто дождевые черви, пепельно-серые, давно не видевшие гребня волосы космами спутались на плечах. Темные, глубоко посаженные глаза глядят по-звериному неотрывно издалека, издалека, из лесов дремучих, из болот зыбучих. Ведьма, как есть ведьма!

Кормилась тетя Шура от леса. Как только наступит зрелое лето, чуть не каждый день пропадает она в лесу. И всякий раз опором прет то ли ягод, то ли грибов. Продаст ягоду – какая никакая деньжонка. Грибов и на продажу, и себе в зиму засушит. Никаких таких коллективных походов в лес она не любила, а если кто и увяжется за нею, все равно она в лесу скроется от попутчика, нырнет в кусты и поминай как звали, и молчок, ни аукнется, ни откликнется.

Поступь у нее все равно, что у медведицы, косолапая и вроде бы тяжелая, и в то же время мягкая, неслышная. Вот и был ей лес, как медведице, вместо второго дома.

Вот ведь – о том рассказал, о другом, а о соседке нашей, о Клавдии Ершовой, ничего не сказал. Голова два уха!...

Изба Клавдии Ершовой стоит рядом с нашей по правую сторону. Мужа у нее не было и нет, а живут они вдвоем с сыном Валькой, которого она, как тогда говорили, пригуляла. Бедно живет тетя Клавдия, голо, пусто у нее в избе. Ничем не

прикрытый, некрашенный стол, две табуретки да скамья около него, у стены убогая кровать. Даже и занавесок на окнах, так и тех путных нет, так – какие-то тряпки. Да и откуда взяться достатку, работала Клавдия в больнице санитаркой, велики ли деньги?

Поскольку своего мужика у Клавдии нет, то и привечает она всех и каждого, кого ни пошлет господь, всех-то бродяжек, всю-то шваль. Такого товару после войны было хоть пруд пруди. Поживет с ней сожитель месяц, много – полгода, и исчезает. На смену ему вскоре приходит другой – неважно, что урка – и опять Клавдия ходит веселая, опять хилый, чахоточный цветок надежды расцветает у нее в душе...

Справедливости ради надо сказать, что в черед ее «мужей» попадались и более-менее порядочные люди, но уносило, сдувало их каким-то ветром.

Среди ее сожителей был даже художник, он на проклеванных холстинах масляными красками рисовал так называемые «ковры». Один из сюжетов этих ковров хорошо запомнился – рассвет в зимнем лесу, на опушке избушка лесника, над нею курится дымок, а в окошке теплится свет. На первом плане, крупно, - лось с лосихой.

У художника была большая папка с вырванными из разных журналов картинками, и он давал мне их посмотреть. Это было первое, пожалуй, мое знакомство с изобразительным искусством.

В улице к Клавдииным замужествам относились с легкой иронией, хотя за амурными делами у нее в запустении пребывал огород, нередко голодным и неприкаянным оставался ее сын Валька. Но Клавдии как-то все прощалось. Доброе у нее было сердце и добрый нрав.

И еще у нее была легкая на всякую медицинскую помощь рука. Разразишь ли ногу осколком бутылки, напорешься ли пяткой на ржавый гвоздь, вывих ли случится какой – мать всегда в таких случаях отправляла к Клавдии, и все-то она

делала ловко, умело, безболезненно – и гвоздь вынет, и рану промоет, и забинтует ее чистой тряпицей. Как-то раз она языком вылизала попавшую мне в глаз стекляшку. В другой раз меня угораздило сверзнуться с драночной крыши дома, в заднице осталось заноз – ой-ой сколько! Что делать – опять к Клавдии!

И все другие жители улицы, хоть мал, хоть стар тоже, если с кем что случится, шли к Клавдии за помощью. Своего последнего мужа Клавдия выходила, вылечила от чахотки собачьим салом. Всем она помогала, чем только могла, а вот самой себе помочь не сумела. Умерла она от самодельного аборта, от большой потери крови. В больницах аборт тогда не делали.

Хорошо хоть Валька к тому времени подрос, выучился на шофера, а потом в армию пошел.

... Много воды утекло с тех пор, больше полвека прошло. Сейчас на том месте где стояла мрачная, подавленная всем остовом вперед и подпертая под конем слегаю изба тети Шуры Тардовой, старший ее сын Владимир поставил небольшой аккуратный садовый домик с верандой, пользуется им только летом, ну и , конечно, пользуется еще и землею, усадом.

Давно уж нет в помине и избушки бабки Дуни Ратмановой. Другой на этом месте дом стоит, другие в нем люди живут. То же самое произошло и с избой Клавдии Ершовой, и ее раскатали на дрова, и поставили тут большой, добротный дом.

Что же – и время, и жизнь неостановимо движутся вперед. Проходит одно время, кончается одна жизнь, и им на смену приходит – лучшее или худшее, не знаю – но что-то другое, новое.

Мостик

Санька Бакловский еще со вчерашнего вечера обежал всю улицу, всех оповестил, чтобы завтра с утра по своим делам никто никуда не уходил, а всем, у кого ходят ноги и владеют руки, выйти новый мостик делать через Тардов овраг.

И овраг этот вдоре бы не глубокий, и ручей, что по нему бежит не велик, но вот в середине апреля зажглись снежки, и овражек так взыграл, что бурной водой подмыло старый подгнивший мостик, и перебираться через овраг стало совсем плохо. Мостик этот давно уж ветхий был, так что больших сожалений по этому поводу никто не испытывал, а решено было - надо налаживать новый.

Материал – столбы, слегы, жерди – мужики заготовили заранее, и вот теперь с утра друг за другом прибывает к оврагу все более или менее работоспособное население улицы – кто с лопатой, кто с пилой, кто с топором, на тачке привезли заранее приготовленный материал, обговорили, кто и чем будет заниматься.



И закипела работа! Борис Лукин, поплевав в ладони, взялся копать ямы для столбов. Василий Куделин и Александр Евстафьевич опиливают столбы до нужного размера, Алексей Евстафьевич принес в прокопченном ведре смолы, и сейчас раскладывает в стороне костерок. Концы столбов перед тем как закопать, надо осмолить, чтобы не загнивали, чтобы постояли подольше.

Пришли в овраг и тетя Нюра Ратманова и Клавдия Ершова, нету у них мужиков, у одной на войне погиб, другая мать-одиночка. Но и они тут не лишние. Мало ли чего – что подать, где поддержать, где поднести. Ну и, конечно, мы, шантрапа, тоже тут как тут. Как же может дело без нас обойтись! Да ведь и надо же кому-то сбегать за забытой инструментиной, водицы попить принести.

А день-то, день-то выдался какой! Хоть и начало мая, а жарит, припекает как летом! Мужики разделись, кто до исподней рубахи, кто и рубаху снял. Молочной белизной светятся давно не выдавшие солнца спины, испариной их прошибло, да и со лбов уж вытирают мужики пот. Алексей Евстафьевич тоже у костерка раскраснелся, разомлел. Весело работают мужики, споро, каждый на людях старается показать сноровку и умение. То и дело слышатся грубоватые шутки, дребезжит бабий смех. Будто в подкидного дурака играют, подначивая друг друга Алексей Евстафьевич с Клавдией Ершовой.

- Ты, Остафьич, вроде как квелый седне маненько. Небось клюкнул вчерась, дак теперь головка бобо...

- Да что, понимаешь, чево я клюкнул? Так уж, понимаешь, - для аппетиту токо. Никакова аппетиту нету, понимаешь...

Алексей Евстафьевич прищуривает глаз:

- Ты вот, чай, аппетитом-ту, поди не страдаешь...

- Э – э – э, Остафьич! И день, и ночь, так бы вот все и кормилась, и кормилась. Да вот окормить-то некому!

- Так уж и некому! На твоей неделе вроде как залетал соловейко, понимаешь!

- Соловьи-те, оне, сам знаешь – спел да улетел! А ты сиди, опять в пусто окошко гляди...

Алексей Евстафьевич с шутками, прибаутками не торопясь, водит ошмаркою по комлю окоренного столба. Он, Алексей Евстафьевич, был на войне и с войны вернулся целым и невредимым. И вот как возвернулся, так на хорошую, чистую работу устроился – бухгалтером в райпо. На работу в соломенной шляпе ходит и – даже в жаркую погоду – при галстукe и в пиджаке. К пиджаку на груди Красная Звезда привинчена. В ту пору фронтовики как-то стеснялись надевать ордена, Алексей Евстафьевич никого и ничего не стеснялся.

Сегодня тоже вот Алексей Евстафьевич взялся за работенку непыльную и не очень утомительную. Свежей смолой вон как гоже в нос шибает, а ежели с похмелья, так оно и совсем одна приятность.

Молча и сосредоточенно тешет скобелем жерди для перил Александр Евстафьевич. Он хоть и родной брат Алексея Евстафьевича, однако в противоположность ему угрюм и неразговорчив. Как все котельщики, он еще и на ухо туг. Когда-то все мужики с нашей улицы, ну, не все, так почти все, были котельщиками, теперь вот он один остался.

На войне Александр Евстафьевич не был, может быть, его оставили «по броне». Но жизнь его как-то все не складывалась. Первая жена умерла перед войной, оставив ему пятерых детей. Не исключено, что на фронт его не взяли и по этой причине. Вторая жена, тетя Маша, была как будто бы доброй женщиной, порядочной. И к неродным детям относилась хорошо. Однако что-то не заладилось у них с Александром Евстафьевичем, не пошло. Разошлись.

Дети за это время подросли, старшие так и вовсе уехали из дому искать по свету лучшей доли, да и младшие чуть не женихи. Да все равно мужику одному без женщины жить плохо, а особенно котельщику. Котельщику к семи утра как хочешь, а чтобы и щи, и каша были то ли сварены, то ли

разогреты. У котельщика работа тяжелая, на завтрак у него меню такое, как у другого в обед.

Второе дело – котельщик ведь не за столом сидит, не на счетах щелкает, с железом работка связана. Обстирать, одежду починить – опять женские руки нужны.

А в-третьих, Александр Евстафьевич вовсе и не чувствовал себя стариком. Так что женился он в третий раз да и смастерил еще двоих сыновей.

Изматывающая, тяжелая работа, работа с детских лет, каждодневная, многолетняя и самое душу котельщика превращает в тупую тяжелую железяку. И тем удивительней видеть у наших, казалось бы, навеки очерстневших, угрюмых мужиков пусть редкие, но все же не совсем заглохшие устремления к чему-то доброму, чистому.

Однажды, когда Александр Евстафьевич женил одного из своих сыновей, и шумная свадьба, поскольку дело было летом, выплеснулась на улицу, он постучал к нам в окно: «Маша, балалайка-то у вас цела?»

Ему захотелось на людях, при гостях как-то показать себя, показать, что он не только кувалдой умеет махать. Балалайка у нас все еще была цела, и Александр Евстафьевич, возвратился с ней к гостям, присел на краешек скамейки, плохо гнущиеся, одеревенелые его пальцы запрыгали по струнам по хрупкому черному грифу. Морщины на его красном от склеротических жилок лице расправились, подобрели глаза, и будто кактус, хоть на короткий миг расцвела его колючая душа...

А дело у наших мужиков изрядно вперед продвинулось. Уже закопаны в землю осмоленные столбы, Василий Куделин железными скобами крепит к ним слегы-перекладыны. Ловко ходит топор в длинных жилистых руках Александра Лазаревича Бакловского, он тешет пластушины для настила, пожалуй, уж и достаточно вытесал. Плотить настил из пластушин взялся Борис Лукин.

Борис с войны вернулся контуженным. После контузии совсем ничего не мог говорить, лежал в госпитале, но и сейчас еще разговаривать ему трудно, сильно заикается. Часто мучают его головные боли, и голова, когда-то кудрявая раскудрявая, стала совершенно лысой.

Но ничего, ладно хоть таким да вернулся. Можно сказать, что повезло. Ведь сколько их, друзей хороших, лежать осталось в темноте... На работу определился вскоре, как домой пришел, где-то столярничает. Семейой обзавелся, женился недавно, живет вместе с родителями в одном доме. Его отец, Кирилл Павлович, нашему отцу был родным дядей, ну а мне Борис Кириллович выходит так, что двоюродным дядей приходится.

... Мреет, дрожит майский воздух над просыхающим оврагом. Ласкает глаз, ровный, зеленый покров свежей травки, что выстлал и дно его, и лужайку наверху. А денек-то, денек – час от часу все краше да жарче!

Вот кто-то принес холодненького квасу в стеклянной крынке, и она пошла по кругу из рук в руки, мужики доволько крякают, и вновь принимаются за дело.

Больше всех суетится, бегают, всем подает советы что и как надо делать маленький, кривоногий Александр Лемашов. За кривоногость за глаза его зовут Саня Колесо, об этом, может, и говорить бы не надо, да ладно - из песни слова не выкинешь. Похоже, что от Лемашова толку мало, похоже, что он только мешает всем, над ним подтрунивают, то в одно место его пошлют, то в другое. Но, наконец, видя, что работа как- никак движется к концу, мужики сбрасываются на водку с пивом и посылают Лемашова в лавку. На что другое, а на это он скор.

В военное, послевоенное время в каждой семье были свои невзгоды, свое лихо, но такой бедности, как у Лемашовых, вроде ни у кого уж не было. Их избушка – развалюшка стоит в самом конце улицы, на отшибе. Она вот-вот рассыплется по бревнышку, подперта слегами. Крыша худая, окна разбиты,

заткнуты старыми подушками. Ворота во двор всегда открыты, и закрыть их уже нельзя – вросли в землю, поэтому в любое время заходи в дом, всяк кому хочется. К ним так и заходят все, у кого возникает необходимость укрыться хотя бы и под такой кров. Нищие, бродяжки, неприкаянные люди, много их несло по земле в те годы – и все напрямик к Лемашовым, будто нюхом чуют, что уж тут-то их приветят.

Опасений, что что-то украдут, совершенно никаких, потому что и красть-то нечего, всей скотины – тараканы, клопы, да мухи, мышей не заводилось, мышам им все же кормиться чем-то надобно.

И тем не менее ни сам Лемашов, ни жена его тетя Нюра, ни многочисленные чада никогда не теряли присутствия и даже бодрости духа.

Никогда никаких жалоб, никаких признаков уныния не позволяла себе босоногая голопузая лемашовская команда. Справедливости ради надо сказать, что через несколько лет Лемашов сгношил деньжонок – ведь он все же работал, работал кочегаром в затонской котельной, и поставил более или менее сносный дом рядом с развалюхой, а ее раскатал на дрова...

К обеду мостик был готов. Новенький настил радует глаз медовой желтизной, по нему теперь и ходить-то жалко, марать-то его не хочется. А перила? Они будто лаком покрытые поблескивают на солнышке. Не мостик, а картинка!

Тут и Лемашов вернулся из лавки, бабы принесли в эмалированных плошках кто огурцов соленых, кто пластовой капусты, кто пучок выращенного на окне луку. Мужички распоселились на пригорке, хряпнули по полстакашка. Сразу пообмякли, подобрели. Кто-то вынул жестяную банку с махоркой, завернул цыгарку, и пошла банка по рукам.

Вот уж и разговор завязался. А о чем разговор? Ясное дело – о том, что еще так и свербит, так и скребется в памяти, о житье-бытье, о лихолетье военном. Изо всех сидящих

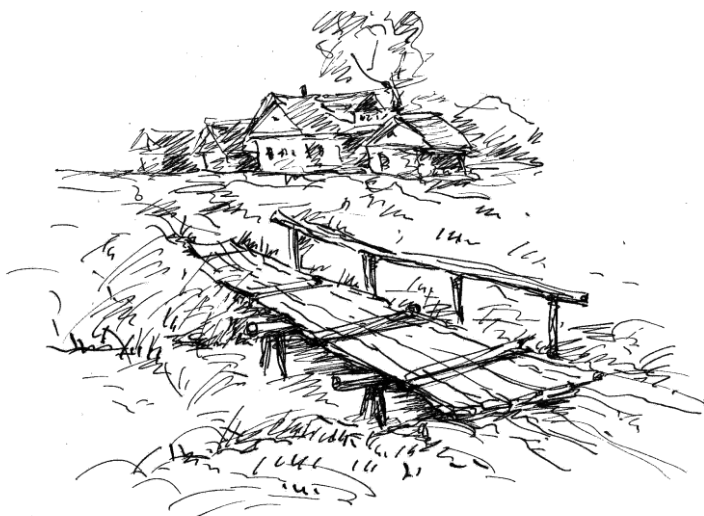
кружком мужиков на фронте были двое — Алексей Евстафьевич да Борис Лукин. Трое жителей нашей улицы с войны не вернулись.

Алексей Евстафьевич, похорошевший после принятой сотки, воскрешает эпизод за эпизодом фронтовой жизни, переделок, в какие ему доводилось попадать.

- А он прет, понимаешь! Танки прут! Скоко их — не пересчитать! А мы в землянке лежим в окопчиках, понимаешь. Винтовочки в руках...

Хорошо рассказывает Алексей Евстафьевич, ярко. Мужики сидят, слушают. Слушает и Борис Лукин. И вдруг его передернуло, сразу белым сделался как мел. Закрыв ладонями уши. Схватился за голову и пошатываясь пошел к дому. Не дошел, присел у Тардовых на крылечке. Нехорошо ему сделалось.

И мужикам нашим тоже отчего-то сделалось нехорошо. Молча доделали остатки да тоже по домам разошлись.



Черное и белое

Теплое тогда было лето, погожее. Бесконечно длинные дни сменяли друг друга, и каждый наступивший день дарил свои тихие, светлые радости, открывал все новые и новые страницы в книге жизни, которую еще только предстояло прочитать.

... Светлое, чистое утро. Ослепительно белым светом залита вся наша улица, все поднебесье и весь Божий мир. Я сижу на завалинке своего дома и, направляя на солнышко увеличительно стекло, на серой от ветхости тесине завалины буква за буквой вывожу, выжигаю свое имя. Голубой дымок витиеватой стружкой вьется от золотистой точки сфокусированного пучка солнечных лучей.

За этим занятием я не заметил, как передо мною будто-то бы из-под земли появился Санька Бакловский, в руках у него поджаристая горбушка хлеба сверху намазанная подсолнечным маслом и присыпанная солью. Санька отламывает мне половинку горбушки, мы с ним друзья – товарищи, а с товарищем так и полагается – «и хлеба горбушку и ту пополам».

- Айда на реку, на пристань!

- Мамка не пустит...

- А ты скажи, что на речку... Что скоро придем.

Через забор кричу в огород:

- Мамк, мы с Санькой на речку!

- Што вам около дома не играется? Што вам в улице-то не гуляется? Куда вас все нечиста-та сила вздымает да несет? А грядку-ту кто будет за тебя полоть?

- Вечером выполняю...

- Мотри у меня, штобы там хорошенько. Глыбоко не заходи. Утонешь - дак лучше и домой не приходи!

- Ладно!

Волга, Санахта – так у нас редко говорят. Если скажут «речка» - само собой понятно, что это Санахта, потому что никакой другой речки в округе больше нет. Ну, а Волга – это уже «река», «речкой» ее никак не назовешь.

Через минуту мы уж идем по уезженной лошаадьми обочине дороги-каменки, где вприпрыжку, где впритруску, вздымая босыми ногами белую, мелкую, будто в сито просеянную пыль, торопимся навстречу солнцу, туда, туда, где Базар, где пристань, где река. Как все-таки она мягка и как горяча, как приятна ногам эта дорожная пыль!

Санька – выдумщик и фантазер. Дорогой он выдвигает разные невероятные теории.

- Вот хорошо бы было: оторвало тебе ногу, а ее взяли и заменили на новую, оторвало руку – пришили другую. И в животе ежели что повредилось, тоже можно – одно выбросил, другое поставил...

- Такова не бывает. Это ведь тебе не лампочка. Это токо лампочку, если перегорит, можно выбросить да другую вкрутить.

- Знаю. Я говорю – хорошо бы было...

Не знали мы тогда с Санькой, что через каких-нибудь полсотни лет его фантазии станут вполне реальным делом.

Вот и Базарский съезд. Справа распоселилась староверская церковь. Колокольню церкви использовали вместо пожарной каланчи, а в самом здании промкомбинат, там шьют и ремонтируют одежду и обувь, там работают мои старший брат и сестра.

На колокольне по ночам дежурят пожарные. Кто-то из старших рассказывал такой случай. Один из караульных пожарных во время дежурства кимарил, кимарил, под утро разморило, уснул. Проснулся - видит: полнеба алым заревом охвачено. Подумал, что пожар, что горит в той стороне, и давай трезвонить в колокол. Когда продрал глаза, оказалось,

что это всего лишь солнышко встает. А народ уж сбежался, подняли горе-караульного на смех.

С противоположной стороны в самом низу съезда стоит низенькая лачужка, это кузница, и работает там Санькин отец, Александр Лазаревич, поэтому пройти мимо нее никак нельзя. В кузнице есть все, чему быть положено – горн с мехами, наковальня, весь необходимый инструмент, кувалда, молоток, зубила, клещи, наждак, точило. В углу отгорожено досками место для древесного угля.

В кузне сумрачно, свет идет лишь из открытой настеж двери да от горна, красные отблески от жаром пышавших углей ходят на стенах, по потолку, по высокой сутулой фигуре Александра Лазаревича. И все-то кругом покрыто толстым слоем черной копоти и рыжеватой, крупитчатой окалины.

Сам дядя Шура тоже черен от угольной пыли и сажки, лишь глаза да зубы белеют в полумраке кузницы. Одежда его – рубаха и штаны, фартук, фуражка, сапоги – все прокопчено, все черно.

Когда нужно было подшуровать, подвеселить огонь и жар в горне, дядя Шура позволял нам с Санькой подергать за длинный шест мехов. Несколько движений и вот опять разгорелись, заалели подернувшиеся было пеплом угли, и опять заплясали над ними золотистые искры.

Дядя Шура изготавливал в кузне незамысловатые и все-таки необходимые в обиходе вещи – ухваты, печные кочережки, скобы, щеколды, лудил кастрюли и ведра, прогоревшие самовары. Злые языки говорили, что Александр Лазаревич прежде чем лудить самовар, опускал его в нужник, для того, чтобы с прогоревшей трубы лучше сошла накипь и гарь. Но, наверное, это уж говорили просто так, чтобы подьегорить...

Но вот к кузне подъехал мужичок на лошади, выпряг ее и завел в станок дляковки копыт. Станок стоит рядом с кузней, это четыре вкопанных в землю столба, прикрытые сверху навесом, столбы с боков попарно соединены перекладинами,

туда и заводят лошадь, а спереди и сзади через проушины в столбы просовывают засовы. Запертая в станке лошадь не могла не только лягнуть, но даже и пошевелиться. Дядя Шура совместно с мужиком-хозяином сыромятным ремнем привязывают ногу лошади к перекладине, сбитое копыто зачищают рашпилем, затем дядя Шура подбирает в кузне подходящую подкову и ставит ее на место взамен утерянной.

Лошадь, старый мерин, стоит в станке смирно, не первой ему за долгую жизнь подобная операция, да и со всем на свете он давным давно смирился...

Вообще-то дядя Шура не всегда был кузнецом. По тем временам и для наших мест у него было совсем неплохое образование – школа второй ступени, и дядя Шура, то бишь Александр Лазаревич, был когда-то учителем сельской начальной школы. Да вот дала жизнь трещину.

Дядя Шура был младшим из трех сыновей Лазаря Евграфовича Бакловского. Его, Лазаря Евграфовича, в улице звали «дедушкой». Дедушкой его звали и в старом затоне, где он в дореволюционное время был подрядчиком, а при советской власти мастером котельных работ.

Но это было давно. Дедушку забрали «товарищи» то ли в тридцатые, то ли в середине двадцатых годов.

Повсеместно была бесхлебица, голодуха, а дедушка не упускал случая принародно охать новую власть.

По рассказам моей матери, он позволял себе такие шутки: стоит в громадной очереди за пайкой хлеба и громко, чтоб всем было слышно, прибаутки, им же самим сочиненные, оглашает: «Коли не было Совета, не видала жопа света, а теперь пришел Совет – увидала жопа свет!» Наш отец – все-таки по соседству жили, да и благодаря «дедушке» хорошим котельщиком сделалась – все пытался его остепенить, ему же желая добра: «Перестань, дедушко. Придержи язык-от, посадят ведь.» Однако дедушку по-прежнему распирали зло и обида на новую власть, а поскольку наш отец годился ему

если уж не во внуки, так в сыновья, то от его увещаний он только отмахивался: «Отстань, Пашага. Не твоего ума дело!» Вот и дошутился. Кто-то донес на дедушку куда следует. И на него зло таили многие. Ночью, чтобы лишнего шума не производить, пришли к нему «уполномоченные», да и ребята из тех, что когда-то под его началом в затоне работали, говорят: «Собирайся, дедушко!» «Куда это, ребятишки!» «Сам знаешь куда». «Да как же я пойду, ребята? Ведь у меня там пароход в эллинге стоит недоделанный. Кто его доделает без меня?» «Э-э-э, дедушко! Строили пароходы до тебя, будут строить и после тебя! Собирайся, родной». Больше дедушку в Баклове никто не видывал.

После того, как дедушку забрали, «уполномоченные» долго все чего-то искали в доме, все перерыли, много кой-чего ценного унесли – дорогую фарфоровую посуду, серебряные ложки и вилки, золотые кольца и сережки, книги, в том числе и церковные. Все это, видимо должно было послужить вещественными доказательствами классовой враждебности мастера котельных работ Лазаря Евграфовича Бакловского.

Дедушка, конечно, жил когда-то зажиточно. Первый свой дом, изначально поставленный им в Баклове, он отдал старшему сыну Анатолию, когда тот женился. Себе же выстроил большой, просторный дом на каменном фундаменте, с множеством комнат, с мезонинами вверх на все четыре стороны света. И второму сыну, Василию, после того, как тот обзавелся семьей, тоже поставил здесь же в Баклове не маленький дом – шесть окошек по лицевой стороне.

И Анатолий, и Василий окончили какое-то техническое училище, пошли по стопам отца, оба работали в затоне, Анатолий – начальником котельного цеха, Василий – конструктором. После того, как забрали «дедушку», прицепились и к Анатолию Лазаревичу, и его загребли, и тоже почистили в доме, пошерстили, прибрали к рукам то,

что показалось излишеством. Василия оставили в покое, видимо, из-за того, что он все-таки был очень толковым инженером, а Александра - просто по молодости лет. Но вот почему потом, позже, Василия мобилизовали на фронт, а Александра нет – не знаю. Не знаю и причины, почему Александр Лазаревич перестал учительствовать, а подался в кузнецы.

Факт тот, что в послевоенное время, на моей уже памяти, Александр Лазаревич с семьей жил в отцовском «дедушкином» доме. А в двух других жили вдовы ни за что, ни про что репрессированного Анатолия Лазаревича и погибшего на фронте Василия Лазаревича. Таким образом, в улице было три семьи Бакловских и, чтобы как-то отличать их друг от друга, жену и детей Анатолия звали Анатольевыми, жену и детей Василия – Васильевыми, а вот семейство Александра Лазаревича почему-то по имени «дедушки» - Лазаревыми.

На правах друга и товарища Саньки Бакловского-Лазарева мне нередко доводилось бывать в их добротном, просторном доме, и несмотря на то, что многое из дому бесследно исчезло, все же здесь повсюду царил еще дух былой зажиточности и достатка. Во дворе дома по рундукам и чуланам лежали и ржавели без дела всевозможные весы – весы напольные и настольные, весы-коромысло, безмены, а еще разные гири, множество гирь от двухпудовой до фунтовой, гири-разновески. Когда-то было что взвешивать!

Сейчас же все это лежало по углам, никому не нужное. И все-же если у когонибудь в улице в кои веки, пусть хоть раз в год возникала надобность что-нибудь взвесить, шли к ним, к Бакловским.

Правда, гири бывали востребованы еще и вот для чего – Никола, один из сыновей Александра Лазаревича, выносил иногда на улицу со двора двухпудовую, пудовую и полупудовую гири, чтобы устраивать соревнования среди

уличной шантрапы и лишний раз показать и подтвердить свое превосходство в силовых упражнениях.

Сбоку дома было широкое с перилами и балясинами крыльцо, но через него в дом почти никто не ходил, все больше через двор.

Внутри дом был поделен сквозным коридором на две части с комнатами по ту и по другую стороны. Изю всех комнат наибольшее впечатление, конечно же, оставляла зала или «зало», как ее называли сами хозяева. Поскольку окна залы выходили на теневую сторону, там всегда царил таинственный, прохладный полумрак, тем более, что и этому слабому свету путь перекрывали полуприкрытые шторы из какой-то необыкновенной в блестящих полосах ткани. И лишь под вечер, когда солнышко уже клонилось к закату, его горячие, золотые лучи проникали в залу, и тогда красным жаром вспыхивали то ли спинки лакированного стула, то ли угол резной горки, то ли латунная гиря настенных часов. В этот короткий миг безмолвные, неподвижно мрачные обитатели комнаты как бы становились оживленными, заводили между собой возбужденный, до лихорадочного пыла, до сушасшедшего бреда доходящий разговор.

Разговор о былом, о минувшем, об ушедшем навсегда ...

О приходивших сюда гостях вспоминали большой и широкий раздвижной обеденный стол на восьми пузатых, точеных, фигуристых ножках и расставленные вокруг него венские стулья с гнутыми спинками.

Прежних хозяев и гостей, хорошо помнит и потускневшее от времени зеркало в темной резной овальной раме, помнит, как кто-то подходил и поправлял прическу, подкручивал ус, лукаво подмигивал кому-то сидящему или сидящей в глубине зала.

Чтобы позабавить гостей, из горки вынималась кружка-шутиха.

По тулову кружки лепное, выпуклое и поверху расписное украшение из плодов и ягод. И еще надпись: «Напейся, но не

облейся». Кружка не простая, с секретом. И дно, и тулово ее двойные, а по краю, по ободку несколько отверстий. Вот нальют в кружку воды, а то и пива, и предлагают кому-нибудь попить. Если не знает человек секрета, то изо всех дырок польется ему содержимое за воротник, на грудь и дальше. Но если заткнуть одно из отверстий пальцем, то напьешься без помех, надо знать только какую дырку заткнуть.

Предметом особой городости хозяина дома является граммофон, диковинная штука с медной выгнутой трубой. После изрядно выпитого и изрядно скушанного гостям предлагается вальс «На сопках Маньчжурии».

Но все, все это в прошлом. Остановившись, безмолвствуют настенные часы в деревянном футляре, не шелохнется длинный латунный маятник, неподвижно висят продолговатые цилиндры гирь. Санька говорит, что в часах стерлись какие-то кулачки. И граммофон, когда раз в год, в какой-нибудь праздник, пытается его завести Александр Лазаревич, исторгает хриплые, надсаженные звуки.

Когда никого не было дома, мы с Санькой тайком проникали в залу, и сразу же я, как на шило, натыкался на колючий, недобрый взгляд дедушки Лазаря. Нет, не живого, конечно. Дедушка смотрел на нас с висевшей на стене увеличенной фотографии, заключенной в черную лакированную раму. И смотрел так, как будто хотел фыркнуть, цыкнуть, вот, дескать, я вас, щенки вредные! Усы, борода встопорщены, и на макушке волосы торчком.

У дедушки Лазаря фамилия изначально была другой, не Бакловский, а то ли Щетинин, то ли Щипакин. Не нравилась ему такая фамилия, вот и сменил, вот и записался Бакловским по названию деревни, где жил и верховодил над другими ее обитателями. Чуть ли не все мужское население нашей улицы, а в те времена деревни, работало в затоне котельщиками, а дедушка Лазарь был подрядчиком

котельных работ, поэтому заработок каждого напрямую зависел от него, от дедушки.

Да и вся жизнь, почитай от него зависела. Подрастет у кого-нибудь из наших деревенских чадо, на работу надо определять. А куда, кроме как в затон? Вот и идут отец с матерью к Лазарю Евграфовичу в ножки кланяться, да идут не с пустыми руками. Если потрафят, так пристроит паренька горячие заклепки из кузницы с горна глухарям подносить. Котельщиков раньше глухарями звали, почти все они глухими были от шумной работы.

Пришедшие в затон десятилетние мальцы бородатого благодетеля называли дедушкой. Вот так оно и пошло – дедушка да дедушка.

В деревне нашей у всех прежде были наделы земли, хлеб на своих полосках сеяли да жали. Вот вызреет хлебушко, нальется колосок, а бабы, прежде чем свою полосу жать, идут «на помощь» к Лазарю Евграфовичу. То, что свое зерно на землю сыплется – это ничего. Сожнут, поставят в бабки дедушкин хлеб, тогда только за свое принимают.

Во времена моего детства живы были еще изустные сказания о дедушке Лазаре, ведь все вот это я и рассказываю со слов нашей мамы. Ну, и понятное дело, более всего воспоминаниями о дедушке дорожили его потомки. Свято блюл память об отце и Александр Лазаревич, каким бы горьким, заурезным пьяницей он ни был, ничего из того, что осталось от «дедушкиного» житья-бытья не пропивал, дом обихаживал, содержал в надлежащем виде, своевременно красил его всегда в один и тот же цвет, голубую краской, а крышу железным суриком.

Когда Александр Лазаревич бывал трезв, то сосредоточенно-угрюмое выражение не сходило с его лица, ни с кем и ни о чем он не разговаривал, глядя себе под ноги, возвращался вечером домой из кузни. Если пребывал в легком подпитии, то снисходил до разговора и шуток даже с нами, уличной мелюзгой.

Однажды в сумерках теплого летнего вечера он читал нам наизусть какое-то длинное, длинное стихотворение, может быть, даже поэму.

Еще помнится, лепим мы всею ватагой из мокрого, только что обильно выпавшего снега бабу, на большой шар ставили шар поменьше, сверху – голову. Александр Лазаревич вызвался нам помогать и слепил бабу со всеми женскими отличительными особенностями, а слепив, восхищенно произнес: «Богиня! Венера!» Нам же тогда не дано было понять этих слов, не могли мы взять в голову, и такой вещи – зачем богиня вылупилась нагишом, холодно ведь!

Когда же Александр Лазаревич в своей кузне напивался до весьма и весьма изрядной степени, что чаще всего и случалось, то еще издали, еще от Тардовой избы ласково и нежно звал: «Шура! Голубка! Ласточка ты моя!» Тетя Шура, жена его, сидела дома, запершись на все засовы. Александр Лазаревич ботал в ворота черным, тяжелым, как кувалда, кулаком и все так же ласково и просительно звал: «Шура! Открой, голубка!»

Наконец, он как-то проникал внутрь и потом целый час нарезал круги вокруг дома, гонялся с топором и с матерщиною за своей голубкой Шурой. Все это однако не мешало дяде Шуре совместно с тетей Шурой настрогать восемь человек детей.

У Александра Лазаревича, я что-то забыл об этом сказать, было и замечательное двуствольное ружье, но с ружьем за тетей Шурой он уж не гонялся. Ружье Александр Лазаревич время от времени смазывал и чистил, держал и гончую собаку, на охоту же в памятные мне годы не ходил, все его дни занимали то работа, то пьянка...

Однако же возвратимся в кузницу к Александру Лазаревичу, где прервалась на время основная нить нашего рассказа.

Дядя Шура смирного, полусонного мерина уже подковал и рублишки засунул под фартук в карман, а мы с Санькой

продолжаем свой до каждого-то камня знакомый путь до базара, до пристани, до реки. На базаре сегодня народу немного – будний день. В такой день бабы стоят за прилавками с повседневным продуктом – кто с молоком да сметаной, кто с только что поспевшей лесной ягодой, кто с огородной зеленью, с луком, да с укропом.

У самого спуска к воде, у деревянной с перилами лесенки, очень даже неплохо расположился рейкою обшитый и голубою краской выкрашенный павильон. На открытую, обращенную к Волге веранду тянет с реки свежим ветерком, там за столиками сидят досужие мужички, не торопясь прихлебывают из кружек пиво, мусолят ребрышки вяленой воблы, а кто так и сто граммов пропустить за грех не считает. На входе в павильон стоит с десяток, а может и больше пустых и полных дубовых бочек, от них сразу шибает в нос кисло-терпким пивным запахом. Заглянуть в павильон, конечно, можно, но его хозяин, низенький, лысый толстяк, всем известный Никанорыч, так цыкнет, так топнет ногой, что пулей вылетишь на улицу.

У нас с Санькой около павильона свой интерес. Попивающие пиво мужики с открытой веранды выбрасывают недокурки папирос, вот мы и окармливаемся внизу под верандой бычками. От дешевенького «Севера» бычки худосочные, вонючие, там нечем уж попользоваться. А вот от «Беломора», от «Казбека» попадают очень даже жирные бычары, такие папиросы курят солидные дяденьки – метр курум, два бросаем.

Сыскав бычков по пять – изжеванный конец мундштука надо, конечно оторвать, - отправляемся к бывшим хлебным амбарам, там в укромном местечке курум до синего тумана в мозгах.

А солнышко знай себе припекает. День к полудню близится, можно теперь и искупаться, поваляться в горячем белом речном песочке.

Но вот издали от Нижнего острова донесся веселый, задорный пароходный гудок, вот он и сам, пароход, показался, вывернулся из-за острова, рыжеватый дымок над трубой кучерявится. Быстро, ходко идет, резво молотит плицами по испещренной рябью воде. Вот уж и причальный гудок дает – принимайте гостя!

Белоснежный, сияющий на солнце чисто вымытыми окнами красавец с флагами на топовой и на кормовой мачтах, фыркая паром из бортовых отверстий патрубков, подваливает к пристани. Проворные матросы принимают пеньковые чалки с носа, с кормы, а там, на пароходе, ловко уже набрасывают восьмерки на чутунные кнехты. Быстренько трап на визгливых колесиках двинули с пристани на борт теплохода. Пассажиры из тех, что полюбопытнее, идут по сходням на берег, поинтересоваться, что это за селение попало им на пути. Их встречают торговки с ягодой, с черникой и земляникой, с вяленой и копченой рыбой, с огородной зеленью. Те, кто не пожелал сойти, стоят на верхней палубе, опершись на сетчатое, леерное ограждение, озирая сверху окрестности захудалой провинции.



Гребное колесо немного проворачивает течением, оно негромко поскрипывает, покряхтывает, с ярко красных его плиц стекают светлые струйки воды.

Выдержав паузу, со второй палубы по трапу спускается капитан парохода со своим семейством. Они и вышли, должно быть, чтобы произвести впечатление на сельскую публику. Жена – молодая, статная, с высокой прической, в летнем светлом платье, дочка – девчонка лет шести – семи, такого же возраста как и мы с Санькой. Но гвоздь этого маленького представления, конечно же, сам капитан. Белая фуражка с ослепительно брызгающей золотыми лучами кокардой, белый китель с золотыми пуговицами и нашивками на рукавах, белые брюки и даже парусиновые туфли и то белые. Капитан выбрит так чисто, что щеки его лоснятся на солнце, будто смазанные гусиным салом.

Капитана под ручку подхватила жена, в руках у нее белый ридикюль, на ногах белые босоножки. А девочка, капитанская дочка, ну прямо суший ангел! В пушистых как дым волосах белые банты, платьице прозрачно, как сам солнечный свет. А белые носочки, а сандалики на ремешках – глаз невозможно отвести!

Белые люди сошли с белого парохода!

В то лето нас с Санькой записали в школу, а в школу босой не пойдешь. Саньке, наверное, купят ботинки, у него, хоть и пьяница, да есть отец. А мне кто и на какие шиши их купит?

Но все же какого-то сильного, явно выраженного чувства зависти ни к девчонке-ангелу, ни к ее родителям – небожителям у меня не было. Для меня это был совсем другой мир, прекрасный, как вот этот белый пароход, как слепящее белое облако в мреющем от жары небе, но и такой же, как облако, недоступно далекий и призрачный. Чему завидовать, если они сделаны совсем из другого материала?

Мечтательным и пристальным взглядом провожали мы с Санькой капитанскую семью, когда она с какими-то

покупками, с какими-то бумажными кулками возвращалась на пароход. Капитан то ли спиной, то ли затылком почувствовал, видимо, как что-то цепляет. Обернулся, увидел нас, сидящих недалеко от сходней на перевернутой разошедшейся лодке, снял висевший на шее фотоаппарат, навел на нас круглое окошечко и нажал кнопку.

Его, должно быть, привел в восхищение наш живописный вид – маленькие дикари с ногами сплошь покрытыми багровыми струпами цыпок, землисто-щелудивые от солнца руки и плечи, носы так вовсе облупившиеся от болячек. И губы посинели от купанья, и лохмы волос выгорели до сивой желтизны. Но цветного фото тогда еще не было, однако и в черно-белом варианте все это, наверное, получилось неплохо, в особенности же цепкие, пронзительно светлые, как у волчат, глаза.

Пароход дал один короткий гудок, через некоторое время – два, после третьего отчалил и поплыл белым лебедем вверх по реке в другие города, поселки и села. Мы же с Санькой побрели своею дорогой ближе к дому, вовремя домой не придешь, опоздаешь к обеду – мать будет ругаться, а то и затрещину влепит. К дяде Шуре в его черную прокопченную кузницу идти больше не хочется, да он к этому времени поди уж успел пропустить за воротник.

Однажды вот так болтаясь без дела у пристани, шныряя по привязанным к сходням лодкам, в одной из них в кормовом бардачке мы нашли фотоаппарат, правда он был не такой, как у капитана, но понять, что это именно фотоаппарат, а не что-то другое, мы все же поняли.

Мы нажимали по очереди на все имеющиеся там кнопки и рычаги, внутри что-то щелкало и жужжало, но как в басне дедушки Крылова обезьяна не знала куда приложить очки, так и мы не могли приложить ума – что к чему в этой штуковине. Дядя Шура, заметив у нас аппарат, быстренько прибрал его к рукам.

Куда уж потом дел – не знаю, может нашел хозяина и отдал, но навряд ли, скорей всего загнал да пропил.

Еще раз убедиться в том, что фотография дело мудреное и не детского ума, нам с Санькой довелось, когда мы тайком от родителей забрались к ним на чердак. На чердаке у Бакловских к моему удивлению такой пыли, хламья и тряпья, как у нас не было, а все лежало прибранным на своем месте.

Вот нам попались на глаза свернутые в рулоны чертежи, пытаемся развернуть, посмотреть. Но бумага затвердела от давности, никак не поддается и пружиной опять свертывается в рулон. Что за чертежи, чьи, для чего? Тайна!.. Что там такое начерчено, нарисовано? Еще больше непонятно, еще большая тайна... Санька говорит, что дедушка когда-то из этой твердой, как кость, бумаги вырезал полосы для подворотничков к форменному кителю.

У стены прямо на полу прикрытые тряпицей лежат фотографии. Все они наклеены на твердые картонки, вокруг фотографий вензеля, на обратных сторонах картонок тоже вензеля и всяческие надписи, рисунки. С самих фотографий испытывающее внимательно смотрят пожилые бородатые мужики, молодые люди, усатые и безусые, женщины и девушки в фасонистых платьях, в юбках колоколом. От фотографий тоже веет чем-то загадочным. Что это за люди, кто они такие? Все ушли в небытие... На бумаге остались лишь то удивленные, то сердитые, то полные достоинства выражения их лиц. Совсем немного пройдет времени, и эти, казалось бы, навек запечатленные мимолетные движения, мимика и чувства тоже уйдут в небытие, за ненадобностью, фотографии будут уничтожены, сожжены, и вот уж ничего не останется от этих людей, умных и глуповатых, добрых и не очень, хитроватых и простых, как бы они и не жили вовсе, как бы и не было их на свете...

Но самое интересное из всего, что было на чердаке, нам еще только предстояло увидеть. В своих поисках мы добрались до узких продолговатых ящичков, в них стояли

стеклянные пластинки. Вынешь пластинку, посмотришь на просвет, а там сидят мужики с угольно-черными рожами, с совершенно седыми волосами, усами и бородами, в белых пиджаках и сапогах. Но вот повернешь пластину так, чтобы свет не сквозь нее проникал, а скользил по ее поверхности, и все становится на свои места. Зрачки глаз только что были белыми, как у вареной рыбыны, а теперь они, как и быть положено, черные. Черными становятся усы и борода, пиджак и сапоги, а лица, руки, рубашка белыми. Удивительно! Прямо фокус какой-то!

Мы с Санькой вынимаем пластинку за пластинкой, поворачиваем, чтобы свет падал по касательной, и на них появляются то церковь, то пароход, то берег реки в кудрявых деревьях и кустах. И опять – мужики в картузах и без картузов, сидят в креслах, стоят возле каких-то высоких тумбочек, женщины, девушки, дети...

Прошло года два или три, мне было уже лет десять. В один из теплых летних дней, после полудня, да даже уже ближе к вечеру, когда на улице не было ни души, у Бакловского дома вдруг появился высокий, статный старик. Шел он медленно, потом остановился и с некоторого расстояния стал внимательно, неторопливо разглядывать этот дом с мезонином.

Взгляд старика был задумчив, мысли витали далеко, а меня так он и вовсе не замечал. Одет он был во все белое, во всяком случае, светлое. Белый полотняный картуз старинного покроя, с высокой тульей, рубаха-косоворотка навывпуск. Пиджак и штаны тоже из какой-то беленой холстины.

Все можно было разглядеть хорошо и подробно, старик стоял и стоял, никуда не торопился. Красивая, окладистая, белая борода. И даже брови седые, белые. Только вот лицо и руки темны от солнца. Ни дать, ни взять – персонаж с Санькиных пластинок – негативов!

Наконец, старик пошел все той же медленной поступью, оглянулся еще раз и скрылся в конце улицы. Будто мираж,

будто видение, возник он не иначе как из того отдаленного бытия посреди совершенно безлюдной улицы и будто мираж пропал...

Кто он был, этот старик? Откуда взялся?

Мистикой и тайной казалось мне все это тогда. Хотя, как можно сейчас предположить, это мог быть всего лишь какой-нибудь любопытный досюлешный дед из дальней деревни.

... Да, быстро прошла жизнь. Как мама у нас все говорила: «Как ворон на коле посидел!».

Но даже и в течение такого вот короткого отрезка времени одни и те же события и явления этой жизни нам представляли или же мы сами себе их представляли совсем по-разному – белое казалось черным, черное белым, потом все наоборот.

Все зависит от угла зрения. Не зря же говорят: «Это как поглядеть!» или «С какой стороны поглядеть!»

У старого вяза

И дом, и двор у Александра Лазаревича Бакловского располагаются на довольно высоком, во всяком случае сухом месте, а вот огород уже одним своим краем полого спускается к оврагу. На дне оврага даже и летом среди кочкарника, поросшего травой осокой, все стоит какая-то ржавая мокрота.

Осенью, а особенно весной, мокроты в овраге собирается много, и она из-за того, что некуда больше ей деться, сочится, а то и течет прямо на дорогу. Непролазная грязь стоит тут по весне чуть не до середины мая, а по осени до заморозков. В начале мая по другим улицам давно уж в туфлях, в ботинках, да в тапочках люди ходят, а тут и в резиновых сапогах под ногами чавкает, ни пройти, ни проехать. Положат в грязь жердочки, положат дощечки, чтобы хоть как-то перебираться на другую сторону оврага. Если перебрался благополучно, дальше уж везде сухо, везде пройдешь.

Овраг и местечко возле него называется Рябина. Должно быть, здесь и в самом деле когда-то росли рябины, сейчас их нет и в помине, а вот название осталось. Вместо рябин по краю оврага выстроились в ряд рослые, достигшие полной зрелости березы. А в самом его начале, там, где тропка еще только-только взобралась наверх и выбежав на ровную площадку, раздалась вширь, там, цепко ухватившись в край оврага узластыми корнями, стоит могучий, старый вяз.

Место здесь открытое, свободное, и в молодости ничто не мешало, ничто не препятствовало ему расти так, как хотелось, да и сейчас ничто не мешает. Вот потому и раскинул вяз могучие руки-ветви далеко-далеко во все стороны света. Вот поэтому и вырос таким большим, что

вершиною своей упирается в поднебесье, и проплывающие над ним облака задевают космами за его кудлатую голову. Если бы даже и пять человек взяли за руки и попытались обхватить его ствол, не знаю удалось ли бы им это сделать, так он был велик.

Кора на сизовато-сером стволе вяза вся изборождена глубокими складками, и слои коры разваливаются в стороны, как пласты отваленной плугом земли при весновспашке.

Вяз весь целиком в полный его рост можно было охватить взглядом только с большака или с другого конца улицы. А если глядеть изблизи, то увидишь только часть ствола или какую-нибудь одну корявую, сучкастую ветвь.

Будто великан-богатырь или древний воин страж стоит бессменно на посту, охраняет вяз вход и подступы к нашей улице.

Зимой вяз выглядит скучновато, нелегко ему жить в это суровое время. А что делать? Куда денешься? Вот он всю-то долгую зиму широкой грудью и принимает на себя жесткие, колючие ветра, суматошные вьюги и метели. Ни помощи, ни сострадания ни от кого не ждет.

Но все когда-то да кончается, и как ни долга бывает зима, а проходит и она, и вот тогда наступают удивительные дни! Вверху над старым вязом поплывут, засияют золотисто-розовым светом ленивые, округлые облака. Теплый воздух ласковыми волнами будет сквозить и веять меж его корявых ветвей.

И старый, выдавший виды вяз, в полусонной неге вздохнет, очнется от спячки, и каждая жилка его могучего тела откроется для хода живительных соков.

День ото дня все больше и больше подтаивает снег на обрыве оврага, тут и там проглядывают из под него охристрые островки глины. Обнажились, вылезли наружу узловатые, мощные корни вяза. А внизу, на самом дне оврага, захлебываясь и перескакивая с пятого на десятое, день и ночь без умолку бормочет болтунишка ручей.

Санька Бакловский прикорнув на пяточке вытаявшей около вяза земли, острым ножичком выстругивает из куска толстой сосновой коры то ли лодочку, то ли кораблик. Кора строгаётся легко, и дело у него спорится – и нос заострен, и корма закруглена. Вместе с ним мы выстругиваем и крепим мачты, из листков отрывного календаря ладим паруса.

С готовым корабликом спускаемся к ручью, и вот уж закружился, завертелся юркий кораблик в быстром потоке. Ткнется то носом, то кормой в снеговой берег, и опять его развернет течением и опять подхватит, понесет к морю-окияну, к широко разлившейся на ровном уж месте, на самой дороге, луже. Тусклую, безмятежную гладь лужи нет-нет да возмутит, поморщит ретивый ветерок, и вслед за ветерком вздрогнет и ретиво помчит под всеми парусами застоявшийся было кораблик.

А вот – гляди-ка! – и Валерка Попрухин торопится, жмет к нам в овраг. Валерка-закудем, башковитый на разные поделки, чего-нибудь да придумает. На этот раз он смастрячил меленку. В дырку шпильки из-под ниток туго забил круглую палочку – ось, а в тулово шпильки врезал лопасти.

Сообразив что к чему, мы помогаем Валерке укрепить по ту и другую сторону ручья палки-рогульки, на рогульки кладем ось меленки, и вот уж она заработала – закрутились, завертелись свежеструганные лопасти.

Ай да Валерка, ну и башка!

Откуда ни возьмись появился Шурка Ратманов

- Это чё и то у вас тако? Меленка? Ну и чё тут такова? Эка невидаль! Давай лучше сделаем капкан!

Возле вяза лежит много веточек, палочек, прутьиков – их нароняли грачи, когда заготавливали стройматериал для своих гнезд. Из этих прутьиков по-над ручьем у дороги там, где его перешагивают люди, мы сооружаем хиленький решетчатый мостик, затем этот мостик маскируем, набрасываем на него сверху снегу и притаптываем его.

К этому ложному хилому переходу протаптываем, натаптываем дорожку, создавая видимость, что тут как раз и есть самая надежная переправа, что тут и надо идти.

Все как надо устроив, прячемся в старом, недоделанном срубе, что многие годы бесхозно стоит в стороне невдалеке от оврага. В бревнах сруба прорублено окошечко, видимо предназначавшееся для продуха. В него-то и наблюдаем по очереди, кто же попадется в нашу ловушку.

- А ежели твою мать угораздит?

Это Валерка задает каверзный вопрос Шурке Ратманову.

- Чё?! Каку еще «твою мать»? Щас вот как дам меж глаз, и будет тебе «твою мать»!

Не знаю уж почему, по какому такому закону, но в капкан через какое-то время попадается именно Шуркина мать, тетя Нюра.

- О-о-т, голошубиха пузатая! О-о-т, сукины дети! – доносятся до нас ее ругательства.

- Ишь – это про тебя. Ты придумал – значитца ты и есь сукин сын, - опять Валерка подъелдыкивает Шурку.

- А кто наколдовал? Ты наколдовал, ты, курва!

И в срубе начинается потасовка, заканчивается она тем, что у Валерки из носа выскакивает красная сопля. С ревом и ругательствами он убегает домой.

Чтоб как-то сгладить инцидент Санька Бакловский из листика отрывного календаря начинает ладить козью ножку, за подкладкой латаной-перелатанной пальтушки наскребает щепоть табаку-смосаду. Спичек у Саньки нет, но зато есть увеличительное стекло. Санька направляет стеклышко на солнце, маленькая ярко-золотистая точка появляется на бумаге в раструбе козьей ножки и вот уже зеленый дымок струйкою закурился в этом месте. Санька затягивается, выпускает дым через нос, и тут же терпкий, едкий дух доморощенной махры расплзается, плывет в стенах сруба.

- Сань, дай разок! – канючит Шурка Ратманов. Заполучив сигарку, от едкого дыма прищурив глаз, он делает долгую затяжку. Очередь доходит и до меня.

- А ты затынись, а потом скажи – «Иван»! Слабо! Слабо тебе! – с презрением глядит на меня Шурка.

Я затагиваюсь, говорю «Иван», и тут же будто кол, нет не кол, - будто еж колючий оказывается у меня в горле. Дыхание перехватило – ни вдохнуть, ни выдохнуть. Глаза мои вылезли на лоб. Кое-как преодолев удушье, кашляю, кашляю с хрипом и храпом, со слезами и соплями. Шурка в это время, показывая пальцем на меня, злорадствуя, ржет как жеребец, гогочет будто гусак.

Едва раздышавшись, бросаюсь на Шурку с кулаками. Шурка постарше меня и посильнее, и мне не справиться бы с ним, да Санька помог, сзади подсек подножкой, и мы, насев на него вдвоем, стали поддавать ему под бока, и в глаз, и в зубы.

Наконец, Шурке удалось вырваться и смыться через проем сруба.

- Попадётся вы мне на узенькой дорожке! Поймаю дак яйцы-то пообрываю!

А солнце день ото дня пригревает все пуще, все горячей. Вот по глубоким складкам в коре старого вяза живыми ручейками поползли рыжие земляные мураши, вот на прогретый солнцем ствол прилетела, а может, из какой-то щелки выползла божья коровка. Две нарядных бабочки покружились, помелькали возле вяза, и вот уж сидят, чуть вздрагивая крылышками, на его огромном тулове.

В это золотое, благословенное времечко к старому вязу собирается все босоное племя не только с нашей, но и с соседних улиц. Здесь на пригорке быстрее всего просыхает земля, поэтому именно здесь прежде всего и затеваются все те игры, по которым так соскучилась шантрапа-голошубиха за долгую зиму.

Без всякого сигнала, без всякого объявления, а так уж, по какому-то чутью, сами собой появляются у вяза братья Лукины – Санька и Колька, Валька Ершов, Костька Бакловский, братья Шушарины из Липовской, и тут же, побрячев мелочью в карманах, кто-то предлагает:

- Сыграем?

- Сыграем!

Как же не сыграть – вон сколько времени дожидались этого дня!

Проводится черта, на нее столбиком выставляется кон из монет. Устанавливается черед кому за кем бить, и Санька Лукин вынимает из глубины кармана литую из свинца битую. Долго, тщательно целится и попадает в самый кон, иные монетки уже и после этого броска перевернулись вверх орлом. Ну а дальше – дело техники. Нет, не притупился за зиму Санькин глаз, не занемела рука!

И вот пошла игра, азартная, горячая, с жильдою, с матерщиной, нередко и с потасовками, с кулачными боями. Когда в кармане не звенит или когда игра в чеканку надоедает, кто-то предлагает, сыграть «в зубари», или «в ножички». В этой игре надо выполнить в определенной последовательности целый ряд замысловатых упражнений. Перочинный нож требуется метнуть так, чтобы он вонзился в землю из самых невероятных положений – с пальчиков, с локотков, с коленочек и с плечиков, потом надо сделать «рюмочку» и «причесочку»... Выполнение всех этих фигур требует немалой ловкости, сноровки и навыка.

Вслед за тем на ровном, не заросшем травой месте чертится круг – это «земля». Участники по очереди, установленной в первой половине игры, стоя в круге, мечут в «землю» ножик, делят ее, стараясь отхватить кусок побольше. Тому, у кого земли не останется вовсе, достается незавидная участь – тянуть, вытаскивать зубами глубоко забитые в землю «зубари». Это по меньшей мере – спички, а чаще всего – выструганные из щепки колышки.

Через день – другой и «зубари» надоедают, и кого-то осеняет:

- Пацаны! А давай сыграем в «жопуклин»!

И вот уж пацаны, выстроившись в ряд, по-очереди тянут спичку. Костыка Бакловский зажал их между большим и указательным пальцами, семь штук, ровно столько, сколько набралось игроков. Спички снаружи выровнены, и неизвестно, какая из них обломлена. Вот она – самая «счастливая» - достается Миколке Лукину. Он по-турецки садится на землю, а все остальные кладут ему на голову, будто блины в стопку, свои кепчонки и фуражки. Через Миколку надо перепрыгнуть с разбега, стараясь как можно меньше сбить шапок, а еще лучше совсем не сбивать.

Первым прыгает Костыка, он самый дланный. Ему что – он ни одной кепки не уронил. За ним Валька Ершов, он тоже не маленький,но одну шапку все же сбил. Шурка Ратманов сбил три, Валька Куделин – еще три.

Вот теперь можно забивать «клин». Валька Ершов встает на карачки, а Миколку Лукина берут за руки, за ноги и, раскачав, задом бьют в зад Вальки Ершова. Ничего, один раз это терпимо.

Теперь очередь вставать на карачки за Шуркой Ратмановым. Стукнули один раз – устоял, стукнули второй раз – с трудом, но устоял. В третий раз ему поддают так, что он слетает с копылок и, пропахав носом метра два, встает с перепачканным землей мурлом. Визг восторга, гогот и жеребячье ржание оглашают окрестность возле старого вяза!. Мчат, колесом катятся майские денечки, а грязь – она все стоит и в овраге, и на дороге. И вот мудрец и изобретатель Валерка Попрухин смастерил и принес к вязу для испытательных действий замечательные ходули. О , как всем сразу хочется попробовать! В драку лезут: «Мне! Я! Я первый!»

Шурка Ратманов на спор решился перебраться с одной стороны оврага на другую через сырую, вязкую болотину.

Ходули в болоте, конечно же, завязли, и Шурка плашмя – хлобысть в самую грязь! Встает, а желтая жижа так и чирчит с него в три ручья. И снова визги восторга и жеребьячье ржанье!

Незаметно и быстро вяз одевался в густую шубу свежей листвы. Вечером эта нежная листва источает тонкий пьянящий аромат. И вот в сиреневых сумерках в гуще листвы в какой-то вечер, как бомбовозы, начинают гудеть большущие майские жуки. Летают они и пониже, у земли, так, что свободно можно сбить фуражкой.

Пойманного жука хорошо посадить в пустой спичечный коробок, а потом, приложив к уху слушать, как он там скребется и шебуршит.

Но это занятие, конечно, больше подходит для ребят – малолеток да для девчонок. А огольцы постарше здесь у вяза вдали от родительских глаз делают всякие такие поделки, за которые их уж точно не похвалили бы.

Вон Миколка Бакловский сделал поджиг, запыжит дробью и с десяти метров запросто пробивает жестяную вывеску на лавке-керосинке. И у Саньки Лукина штучка не хуже.

Испытания поджигалок проводятся все тут же, у вяза, возле клетки недоделанного сруба. При пробном выстреле, если медная трубка ствола оказывалась меньшей, чем нужно, толщины ее разрывало в клочки, бывало, что и руку стрелку поранит, и только чудом оставались целыми глаза.

У нас, ребят младшего школьного возраста, такого грозного оружия, конечно не было, но и мы не всегда мастерили только кораблики да меленки. Делали сабли для пиратских сражений, делали лук и стрелы с наконечником из стальной остро заточенной проволоки. А какие замечательные рогатки получались из противогазной чуть ли не на метр растягивающейся резины!

Поджигалок у нас не было, но зато были пугачи – пукалки, сделанные из медной трубки, с одного конца сплюсненной и загнутой в виде буквы «Г» и таким же образом загнутого

гвоздя. Эта система «трубка-гвоздь» соединяется с помощью резинки. Трубка набивается серой со спичек, а гвоздь заряжается с помощью резинки, в заряженном виде он острием упирается в стенку трубки. Легкий удар головкой гвоздя в стенку или о ствол того же вяза, пугачик как щелканет, и тут же кислой вонью защекочет в носу.

Вот это да! Вот это здорово!

А вяз, старый вяз наблюдал за всеми нашими проказами, с высоты своего могучего роста он видел, как кто-то шельмовал, хитрил в игре, но молчал. Он слышал, как ребята порою обидно обзывали друг друга, ругались нехорошими словами, затевали драку, но помалкивал. Как большой и добрый, несварливый дед, он прощал нам все. Он знал, что назавтра мы, помирившись, вновь придем к нему, и вновь, как ни в чем не бывало, затеем какую-нибудь новую игру. А солнце между тем шпарит уж совсем по-летнему, и ребячий гвалт у вяза понемногу стихает. Теперь орава огольцов все дни напролет пропадает на реке. И все же по вечерам нет-нет да опять у вяза затевается какая-нибудь игра – то в чижик, то в клек, а то в городки.

Вяз одевался к этому времени многошумной, густой – прегустой листвой. Мы с Санькой Бакловским забирались по стволу и по его ответвлениям на ту высоту, как только хватало смелости и сидели там, затаившись, наблюдая за тем, что происходит внизу, и воображая себя то ли партизанами-разведчиками, то ли придорожными соловьями-разбойниками. И с низу нас совершенно не возможно было разглядеть. Для удобства мы даже соорудили там наблюдательный пункт, положив в развилки ветвей несколько досок. Ветви и сучки вяза как будто бы специально росли и располагались так, чтобы по ним удобно было лазить, и ни разу не было случая, чтобы кто-нибудь из нас сверзнулся с дерева вниз. Мы не понимали еще тогда, что это вяз так бережно и надежно держал нас, самонадеянных, неумных несмышленишей, в своих широченных лапищах.

А как далеко и как много видно всего было с такой высоты в окна-прогалы между ветвей! Видно Липовскую, всю – каждый амбар даже и каждую баню. Видно мощеный булыжником большак, Санахту, голубой змейкой извивающуюся в лугах. Видно Покровскую гору, одетую в зеленую шубу сосновой рощи. А там, дальше, - Волга синею лентою, а еще дальше заволжские леса в лиловой хмари. В общем – видна с вяза вся наша земля!

В тот год шантрапа – вольница не только нашей улицы, но и всего поселка была взбудоражена и находилась под сильным впечатлением от фильма про Тарзана. Шурка Ратманов, прознав про наш наблюдательный пункт, вечерами в сумерках забирался туда и оглашал окрестности диким, душераздирающим воплем, после чего к нему крепко и надолго приклеилось прозвище Тарзан.

Красно летечко – не зима, пролетает быстро, не успеешь оглянуться, как и в школу пора собираться. И осенью бывает, что соберутся ребятки у вяза, да только нет уж той неумемной радости, того оживления и гомона, и горячего азарта в игре, что бывает по весне.

И вяз призадумывается, потихоньку начнет терять лист. Вон уж сколько его, пожухлого, свернутого в трубочки лежит и по краю и на дне оврага. Целые вороха! Мы граблями сгребаям этот лист и в корзинках-плетухах носим во двор. Хорошая подстилка будет поросенку Борьке, мягкая, душистая!

Уронит вяз листву, и вновь найдет на него оцепенение, и вновь он поскутнеет, замрет до следующей весны.

Эх, время, времечко! Не остановить его ни на миг! Совсем незаметно огольцы-голошубиха становились взрослыми парнями. Один за другим уходили они с родной улицы, чтобы отправиться в дальнюю сторону. Кто уезжал в армию, кто на учебу, кто на заработки. И каждый проходил мимо старого вяза, совсем не замечая его, думая с тревогой о чем-то своем.

Вяз же молчаливо и долго смотрел вслед каждому из нас. И вот – нет бы оглянуться, уж не рукой помахать, так кивнуть, взглядом попрощаться – не горюй, мол, старина!... Нет! Куда там!... Скорей, скорей из этого болота на простор, куда глаза глядят! Скорей в пучину бурных жизненных волн! И редко кто из ушедших возвращался на родную улицу. Где они? Живы ли? Не знаю...

Печальною оказалась участь и у старого вяза. Когда в Чкаловске появилось так называемое Горьковское водохранилище, климат в наших краях изменился довольно ощутимо. Он, климат, оказался неприемлемым для вязов, породы деревьев в прежние годы у нас очень даже распространенной, и они – все, все до одного! – погибли.

И вот теперь, спустя много лет, если кой грех случится заглянуть на улицу детства, так и защемит в груди от царящей там мертвенной тишины и запустения. Ни души на улице, мертвое царство! Пройдешь проулком, посмотришь на лысенькое, скучное местечко возле теперь уже вовсе не глубокого оврага, и уж самому не верится, что вот здесь вольготно росло такое могучее и красивое дерево! И сколько гомона, сколько радости и слез, сколько жизни здесь было!..



Тамарка

- Маша, ты бы пришла хоть как ни то, да поругала маненько Тамарку-ту. Ведь совсем девка от рук отвибатца. Пол заставишь подмести – ну еще, за хлебом сходи – ну еще. Уроков не учит -- одне двойки. Меня уж с ей , халерой, прости господи ,сила не берет. Приди, матка!

- Ладно, Шура. Ужо приду. Уж я ей отчубучу. Приду, приду.

Вот улучит мама Тамарку, когда та мимо окон пройдет, на крыльцо выйдет:

- Тамарка, седне ты лаять приду. Мотри у меня, держиса! Тамарке это дело не впервой, лыбится:

- Приходи, тетя Маша, приходи!...

Придет мать вечером к тете Шуре, о том, о сем языки почешут, и вот начинается проработка:

- Тамарка, ты это что, еретица, мать-ту не слушасса? Неужто те лень уж пол-от подмести? Воды-то принести или те тижоло? А? От учебы ты уж совсем отбивасса? Не стыдно тебе с харей-ту? Ты мотри, давай из ветру-ту не выбегай!...

Тамарка слушает, слушает, наклоняется все ниже и, наконец, не выдерживает, давится смехом, закрывшись руками. Тете Шуре же кажется, что Тамарку трясет от слез.

- Ну ладно, Маша, будет уж. Вон , бесстыжа харя, лаёт видать. Проняло, чай...

Выйдя с матерью в сени, тетя Шура говорит ей как бы уж с неудовольствием:

- Ты бы, Маша, маненько потише ее... А то уж и жалко ведь. Еще, как ни говори, робенок...

На другой день, как начнет темнеть, а зимой темнеть начинает быстро, бакловские огольцы по одному, по двое выкатываются из домов, гуртятся около чьего-то крыльца.

Незаметно, ровно как тут и была появляется и Тамарка. Валенки на ней латаны-перелатаны, еще одну латку поставить и места уж нет. На валенки напущены шкеры с резинкой. Из пальтушки Тамарка давно выросла, рукава чуть не по локоть.



Игру давно бы начали и без нее, но Тамарку ждут, потому что никто лучше нее не может выдумать, чтобы что-нибудь такое нашкодить.

- В войну будем? – спрашивает ее, пряча в рукав самокрутку Шурка Ратманов.

- На – до – е – ло!...

- Может лучше в скрадышки? – робко предлагает Витенька Куделин.

- Ну, конечно! Как же? Вот в скарышки щас и будем!...

- А во что же?

- Вишь сани у тётъ Пашиных ворот?

- Ну?

- Баранки гну. Тихо, чтобы ни одна вошь не пискнула, берем – и на Липовскую гору.

Сани у тети Пашиных ворот оставляет дядя Василий, он стоит у тети Паши на постое и занимается извозом.

И вот уж через четверть часа вся шантрапа вместе с санями на Липовской горе. За вечер сани ухайдакали в лоскут.

На другой день дядя Василий, хлебая горячие щи со свиным салом, бурчит:

- Все копылья навыйлет, екора мара! Еще вчера все было путем. Надо идти уделывать...

А к вечеру снова огольцы-голошубиха гуртятся на задворках. Тамарка крутит в руке гаечку.

- Шкет, принеси шпульку с нитками. Да поживее, - бросает она мне.

Через пять минут катушка крепких ниток в руках у Тамарки. Она провдевает конец нитки в ушко булавки и привязывает к нему гаечку.

- Айда к Клавдее!

Неслышно подходим к Клавдеину дому, Тамарка втыкает булавку в переплет оконной рамы. Сматывая нитку со шпульки, отходит на безопасное расстояние.

Клавдия, безмужняя женщина, любит привечать ухажеров. Про это знают в Баклове все. На эту Клавдеину слабость и рассчитана проказа.

Тамарка трижды потихонечку деркает за нитку.

- Тук, тук, тук, - стучит гаечка в стекло. Через минуту дверь открывается.

- Кто тут? Ты, што ли, Васька? Чево хоронишься? Зенки, чай налил опять? Ну, иди, хватит в скрадышки-то играть Чего кобенишься? Ну и бес с тобой!

Клавдия запирает дверь. Когда шантрапа вдосласть нагоготалась, Тамарка снова – тук, тук, тук...

- Васька, ты што, сволочь паршивая? Што еще за игрун на тебя нашел? Хошь - так заходи, а то дак уматывай к чертям собачьим. Че тут выхаживаешься? Ну? Сволочь, ты и есть сволочь!

После очередного «тук-тук» Клавдея выходит с ухватом.

- Я вот те харю-то разможжу щас, кобелина ты така. Я те поиздеваюсь, стерво говенно! Я те покажу «тук-тук»!

Кто-то из огольцов не выдерживает, ржет, будто жеребец. За ним и остальные, и тут же пускаются наутек в другой конец улицы.

- Сучьи дети, голошубиха пузатая! Дристуны несчастные! – несутся вслед Клавдеины проклятия.

Вот такие были большей частью Тамаркины забавы. Но иногда она придумывала что-нибудь действительно интересное. Однажды она придумала вырыть в овраге за молочной в глубоком, чуть не полутораметровой толщины снегу целый лабиринт ходов и переходов для игры в войну. Тут были и штабные помещения, и окопы, и снайперские точки и доты. В этих окопах мы играли долго, почти до самой весны.

Во всех повадках Тамарки и даже во взгляде светлых, чуть с зеленцой глаз было что-то волчье, беспощадно смелое.

Игроки

— Эй, шкет! Иди в очко сыграем!

— Денег нету...

— Да уж, конечно, нету! Знаем мы тебя! Ну-ка выверни карманы!

Я выворачиваю, и двадцать копеек, завалившиеся где-то там в уголке, предательски падают на дорогу.

— А говоришь – нету! Садись, пока зовут. Может, рупь выиграешь!...

Чего я выиграю? Ничего не выиграю. Яснее ясного, что Костьке Бакловскому просто хочется ободрать меня и оставить даже без этих двадцати копеек. Но все-таки приходится идти к крыльцу, где сидят за картами Костька, Колька Лукин, Шурка Ратманов. Не пойдешь – еще дразниться будут: «Иди к мамке титьку сосать!»

Поставили на кон по двадцать копеек. Банкет Костька.

— Держи, шкет. Еще? Держи еще. Хватит?

Я прячу карты в ладонях. Конечно, хватит, если очко!

Костька сдал карту Шурке, Кольке, взял себе. У Шурки перебор, у Кольки с Костькой недобор. Банк мой.

Костька сдает во второй раз, и мне снова везет. Опять я забираю банк.

— Я домой пойду... Меня мамка ждет, ругаться будет...

— Куда ?!! Куда ты пойдешь? Сиди, гад!

У меня вспотело под носом, зачесалась задница. Да, в третий раз уж никак повезти не может. Но повезло! Повезло и в третий раз!

Передо мной целая груда пятаков, гривенников, пятнашек. Больше трех рублей – это же целое состояние!

— Меня мамка ждет...

— Мамка ждет? Ну, иди к мамке!

Костыка загребает всю кучу моих честно выигранных денег и дает мне увесистого пинка – вот от чего чесалась задница!

— Иди, иди! Иди к мамке титьку сосать!

И вслед мне летят мои злополучные двадцать копеек. Так крупно при игре мне больше никогда в жизни не фартило.

... В карты у нас в улице играли все – и взрослые, и ребятки-огольцы. Мужиков как таковых в числе прочих обитателей было не так уж и много, но и они иногда подсаживались к молодым парням, чтобы перекинуться в «козла». Знакомство с картами начиналось с малолетства – с Акулины, с «дурачка».

Были среди уличных картежников истинные мастера. С какой степенной деловитостью, с каким расчетливым смыслом играл в карты Колька Муха! Он был калекой – в раннем детстве упал с чердака и подвернул ногу. Ногу ему почему-то вовремя не выправили, она так и осталась вывернутой носком назад и стала сохнуть. Муха ходил на костылях, ноги у него все время зябли, поэтому он даже и летом ходил в чесанках с калошами и в ватной фуфайке.

Муха был тихим, смирным и по-своему умным парнем. В то время ему, должно быть, было лет шестнадцать, он сапожничал на дому, подшивал валенки, чинил и летнюю обувь. Не знаю уж сколько ему довелось поучиться в школе, но он был страстным книгочеем и книги для чтения выбирал потолще и позамусоленней, в расчете на то, что чем замусоленней, тем интересней. Дочитав книгу до конца, Муха брал карандаш и на задней обложке писал: «Эта книга очинь интересна».

Другой его страстью были карты. В кармане фуфайки у него всегда лежала колода карт, и не какихнибудь задрипанных, а настоящих атласных. Перед тем как разделить карты по игрокам, Муха долго и тщательно их тасовал – делил колоду пополам и всовывал одну половину в другую, подснял, снова перетасовывал.

Самой распространенной в нашей среде была игра в «козла». Одним из ее элементов является «хвалена», когда кто-то из игроков, выигравших первый кон, диктует другому, проигравшему и раздающему карты, способ их раздачи. Муха придумывал такие закудемытые, мудреные варианты этой самой хвалены, что его даже прозвали Козлиным фропессором.

Перед каждым ходом он долго, сосредоточенно думал, глядя в лица, в глаза соперников и партнеров, словно бы желал прочесть их мысли, наконец, восклицал: «И-е-е-х, ладно! Чай, не корову проиграм!» и хлестко, с оттяжкой бил своей картой по той, что уже лежала на кону. Муха по ходу игры запоминал, какие карты вышли, какие еще нет, запоминал все ходы. Шельмовать, играя с ним, было делом бесполезным, а если кто-нибудь все же отваживался, Муха, дождавшись момента истины, голосом беспристрастным, как у судии небесного, провозглашал:

— Четвертак. По третьему заходу бил виной, а вона — винновка-то и вылезла.

Муха за игрою никогда не ругался и не спорил. И с ним не спорили, признавая его безоговорочный в этом деле авторитет.

Как мне хотелось тогда научиться играть так же основательно и грамотно, как Колька Муха!

Но вот однажды довелось нам, уличной шантрапе, увидеть и оценить высший пилотаж карточной игры. Егор Тардов на несколько дней приезжал домой, чтобы после шести лет заключения навестить старуху-мать. Егора посадили в конце войны, от крайней голодухи его взял соблазн залезть в ларек, и хотя в ларьке кроме папирос, леденцов, да соевых пряников ничего не было, но по тем строгим временам ему припаяли по полной программе, и Егор отпахал эти шесть лет от звонка до звонка.

Прознав про приезд Егора, к Тардовой избе собрались и его сверстники, те, кто хорошо его знал и помнил, они не забыли и его прозвище – Банзай.

Пришли и мы, кто был наслышан о Банзае и его подвигах только лишь по ходившим среди шантрапы легендам.

Егор вышел из дома на улицу, очень даже прилично одетый, в белой рубашке апаш, в хорошо отглаженных брюках, в белых парусиновых туфлях. Улыбка – от уха до уха, полон рот золотых зубов, в зелено-рыжих глазах пляшут черти. Банзай!



— Ну что, орлята? Пионеры-школьники! На Егора притопали позырить? Ну, глядите – вот он я! Жив, здоров. Обосновался в первопрестольной. На тачке езжу, тачка на

четырёх колесах. Ну, поглядели? Еще вопросы есть? Вопросов нет. А раз нет – вали по домам!...

На другой день Егор в одних брюках – день был душный – вышел и присел на крылечко покурить. К крылечку один за другим опять стали подваливать ребята, сначала кто постарше – Николка Бакловский, Генка Лукин, Юрка Лемашов, а потом уж и другие.

Потолковать о том, о сем.

— Ну, как оно там?

— Попадешь – узнаешь...

Разговор в оживленный никак не хотел переходить. Наконец, Никола предложил:

— Может в картишки перекинемся по старой памяти?

— А надо ли? Завязываю я со всем этими делами потихоньку, - с неохотой зевнул Егор.

— Да ладно – по маленькой, для интереса!...

— Ну, гляди. Закон знаешь – играть не пировать, матери не жалиться...

— Само собой!

Егор, пригнувшись, нырнул в низкий проем двери в избу, оттуда вышел с колодой карт. Расселись на лужайке в тени от двора. Карты у Егора были диковинные, таких у нас никто не видывал. Конечно же атласные, но на рубашке, там где бывает только сеточка, красовались смазливые голые девки.

— Ось це да! – не сдержал восхищения Шурка Ратманов. – Мне бы такие!

Для начала, для разминки Егор показал несколько упражнений, несколько способов тасовки карт. Поскольку руки его обрели привычное для них занятие, то и настроение его сразу же изменилось в лучшую сторону. То и дело вспыхивали огнем золотые Егоровы зубы. Через минуту – другую он уже непринужденно напевал, сыпал незнакомыми, яркими, как новые гривенники, словами. Выговор у него до того уж «масковский», что каждое слово выворачивает, будто

варежку подкладкою наизнанку. Для нас это тоже было совершенно необыкновенно. И все песенки, песенки...

Калыма ты мая, Калыма!

Забытая точка планеты.

Паниволе сайдешь здесь с ума,

Атсюда вазврята уж нету!...

С нескрываемым интересом разглядывали мы и наколки, которые тут и там синели по всему Егорову телу. И тело его, надо сказать, было совсем не хилым. Мускулистое, молодое и даже с загаром. Но чего тут только не было! На спине, на груди, на плечах, на руках – орлы, парусные корабли, кресты и купола, змеи и мечи, голые тетки...

Ну и конечно же, как же без этого – на одной груди профиль Ленина, на другой груди профиль Сталина.

Наглядевшись на эти шедевры изобразительного искусства, через день-другой вся пацанва собралась у Вальки Куделина. Отец с матерью были на работе. Валька раздобыл где-то рузырек с тушью, связал вместе две иголки и макая их в тушь, делал всем желающим наколки. Кому сердце, пронзенное стрелой, кому якорь, кому перстень на пальце.

Себе на тыльной стороне руки он выколол солнце, восходящее из морской пучины, а под ним – «привет».

Опыта у Вальки не было никакого, получалось все очень грубо. Руки у ребят от наколок воспалились, покраснели, и многие за такие художества получили от родителей лупань.

Но это было потом, позже. А сейчас – сейчас Егор ерошил пока еще не отросшие как следует волосы и, тасуя карты, мурлыкал:

Па тундри, па широкаму полю,

Где мчит курьерский «Варкута – Ленинград»...

Егор тасовал карты, а руки его работали с доведенным до совершенства артистизмом, каждое движение было отточено и четко. Раскрыв рты мы не сводили глаз с Егора, а главное – с его рук. Карты подчинялись и беспрекословно слушались, откликались на всякое прикосновение, липли к пальцам, к

ладоням, иногда тихо шелестели, иногда кричали и скрипели, прищелкивали, как испанские кастаньеты. Это было похоже на виртуозный танец или на виртуозную фортепьянную игру. Куда уж там до такого артистизма было нашему доморощенному профессору Кольке Мухе! Сейчас он сидел в сторонке и с грустью наблюдал за тем, с какой немыслимой скоростью работают Егоровы пальцы. Причем Егор даже и не глядел ни на карты, ни на свои руки. С блуждающей улыбкой на губах глядел он на нас, плюгавеньких пацанчиков, а руки как бы сами по себе выдавали фокус за фокусом, один замысловатей другого.

Жить тяжело, страдая и скорбя.

Вернись, малютка, мне так грустно без тебя!

Никола Бакловский тем временем ерзал от нетерпения сыграть. Егор нарочно тянул время, он знал и чувствовал Николкину натуру, знал, что тому всегда и во всем хочется встать впереди всех.

Никола в улице был и царь, и Бог, и воинский начальник. Вел он себя нагло, и не упускал случая чем-нибудь унижить всякого, кто бы ни попался под его руку. Играть с уличными ребятами в «козла» он даже и не садился, играл с белодомовскими ухарцами в очко, в буру. Среди этих ухарцев были и такие, кто уж успел побывать в местах не столь отдаленных. Кое-чему от них научился, поэтому так и рыл копытом землю.

— Ладно, Егор! Кончай цирк! Давай сдавай!

— Ну, что же! Коли так торопишься – изволь! Что тебя более устраивает – очко, трынка, бура? Где сечешь? В буру? В буру так в буру!

Не жди любви абратна,

Забудь меня.

Нет к прошламу возврата,

И в сердце нет агня!

После первой сдачи Никола снял банк.

— Ого! Я вижу, ты здесь время зря не теряешь! Молоток, молоток, Николай! Поздравляю от всей души!

Никола, довольный собой, кашлял в кулак, еще больше ерзал в предвкушении грядущего фарта. Теперь все наши взоры вперились в него – вот это Никола! Знай наших! Мы тоже не могли пока понять, что Егор так, ради забавы, дал ему немного форы. Как кот над мышью, так и он тешился над Николой. Иначе было бы совсем неинтересно. Он просто разыгрывал маленький спектакль, может, от скуки сам для себя, может, и для нас немножко.

— Что такое?! В этот раз почему-то не повезло тебе, Николай! Жалко! Не повезло! Прими мои искренние соболезнования!

— Мухлюешь, Егор! Я же вижу – мухлюешь!

— Юноша! Что я слышу? Что за выражения! Какое шельмовство? Игра – и только!

Куда, куда вы удалились
Весны маей златые дни?!!

— Ну, так как? Желаете продолжить далее или достаточно? Воля твоя – давай продолжим!

И снова Никола терпит неудачу. А Егор знай себе мурлычет:

Не асуждайте меня цыгане,
Пращай мой табор.
Паю в последний раз!

— Опять химичишь, Егор! Слепой я што ли? Наблатыкался там!

— Клянусь тебе зубом Будды, Николай! Никакой тут химии нет и грамма. Практика! Одна лишь практика! Опыт – понимаешь? И все!

Егор сверкает златозубою улыбкою от уха до уха.

Наконец у Николы сдают нервы, и он с матерщиной швыряет Егору в глаза его нарядные карты.

— О, молодой человек! Вот это уже зря! Это уж совсем нехорошо!

Егор легонько, как бы шутя, бьет Николке ребром ладони чуть пониже затылка. И-эк! – это у Николы в горле екнуло. Глаза выпучил Никола, рот открыл, дыханье, видать, перехватило. Но через секунду – другую, очухался, с лютой ненавистью посмотрел на Егора, и пошатываясь, пошел прочь.

— Экая дикость! Экие непроходимые дебри!

Егор встал, отряхнул брюки, сразу погрузневшим взглядом поглядел поверх наших голов.

— Все, дорогие орлята! Бесплатное кино кончилось!

Может, сейчас он уже и жалел, что устроил это бесплатное кино. Пошел домой.

— А карты?

— Карты? Я, кажется, слышал – кому-то глянулись мои карты. Тебе, малец? Владей! Только матери не показывай!... А я? А я наигрался, орлята...

Через неделю Егор уехал.

Напротив избы Кирилла Павловича, через дорогу, был пустырь, сырое болотистое место, покрытое кочкарником. Меж кочек кой-где росла осока да другая дурная трава. Там даже и летом, если оно выдавалось дождливым, хлюпало под ногами.

Кирилл Павлович перед этой болотиной вдоль дороги посадил пять тополей, и пустырь стал понемногу подсыхать.

Однажды на пустыре появились не наши, незнакомые мужики. Они стали забивать в землю свежевытесанные желтые колышки, натягивать меж ними бечевку, а потом по этой разметке принялись копать канавки, не широкие и не очень глубокие. Зачем, для чего? — недоумевала уличная шантрапа.

Вскоре по улице разнеслась весть, что на пустыре будет ставить дом затонский инженер Королев Иван Николаевич.

«Вот так уж выбрал местечко... Не нашел видно лучше-то», - говорили и у нас дома, и другие жители улицы.

Тем не менее на пустырь через малое время привезли лесу, и заработали, застучали топорами сноровистые мужички. Бабы и ребятишки из соседних домов, будто галки, то и дело налетали подбирать из-под плотницких топоров желтую смоляную щепу и корё.

К Ивану Николаевичу Королеву сразу же прилепилось и больше уже не отставало прозвание – Инженер. И не обидно, и сразу понятно о ком речь, потому как на нашей улице инженеров кроме него не было да и отродясь не водилось.

Мужички работали споро, и дом рос как на дрожжах. По вечерам, по выходным возле дома стал появляться и сам Инженер, что-то копал, тесал, строгал. Около него крутилась аккуратно одетая, чистенькая девочка лет десяти –

одиннадцати. Вскорости девочка познакомилась и быстро подружилась с девчонками с нашей улицы, и все узнали, что звать ее Лиля.

Вот как-то ранним погожим летним утром, когда на улице никого из ребят еще не было, вышел я на крылечко почитать книжку. Высыплет шантрапа – тут уж будет не до чтения. Увлечшись книжкой, я и не заметил, как передо мной откуда ни возьмись выросла Лиля.

— Яблоко хочешь? – и Лиля протянула мне большое румяное яблоко.

От неожиданности я даже растерялся. У нас на улице не принято было делиться с кем попало, уж если и делиться, так с закадычным другом. Обычно, когда кто-нибудь выходил из дому с огурцом или с куском хлеба, намазанным пенками с варенья, то еще не успев закрыть за собой дверь, кричал: «Сорок один – ем один!» Зазевался, не успел крикнуть – тут же тебе выпалят: «Сорок семь – дели всем!»

А тут вот те нате – хочешь яблока... Поэтому я, пожав плечами, невнятно промямлил:

— Н-не знаю...

Большие, светлые глаза Лили стали еще больше и светлей.

— Как же ты не знаешь? Не знаешь хочешь или не хочешь яблока? Бери! В школу ходишь? Нет еще? А уже читаешь? Тебя как звать?

Лиля засыпала меня вопросами, и я едва успевал уныло мычать в ответ или мотать головой.

На Лиле было легкое платьице колокольчиком, в аккуратно заплетенных косах – большие банты. Вся она была свеженькая, чистенькая, как само это летнее утро. Мама, упомянув как-то раз про Лилу в разговоре, заметила: «С таких только картинки списывать!»

Я поглядывал на Лилу исподлобья, отмечая то легкие завитушки волос возле ушей, то едва приметные ямочки у локтей, и вдруг жгуче стыдно стало за свои замызганные,

застиранные штаны, да черные струпья цыпок на ногах. От смущения аж слезы навернулись на глаза.

— А у меня детских книжек много. Я давно уж их прочитала. Хочешь тебе принесу?

— Н-н-не знаю...

— Ну вот, какой ты. Все не знаю, да не знаю...

И она пошла прямо к своему дому, солнце насквозь просвечивало ее платице и легкую пушистость над волосами, отчего голова ее казалась окруженной золотистым, светящимся, как у ангелочка, нимбом.

Лиля ушла, а я все никак не мог сосредоточиться на чтении и долго еще ощущал внутренний жар стыда за самого себя.

К вечеру Лиля вынесла из дому большой голубой мяч и на пустыре затеяла с девчонками какую-то совсем незнакомую нам игру. Она деловито и терпеливо растолковывала порядок игры, что и как нужно делать. И считалка у нее была необычная, новая, не как у нас:

Дора, дора, помидора, мы в саду поймали вора,
Стали думать и гадать, как бы вора наказать.
Мы связали руки, ноги
И пустили по дороге.
Вор шел, шел, шел
И корзиночку нашел.
В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи,
Ленты, кружева, ботинки
Что угодно для души?
Что хотите то берите,
Губки бантиком держите,
«Да» и «нет» не говорите,
Черно с белым не берите!

После этого играющим задавались вопросы с подвохом.

— Вы пойдете на базар?

Если ответил «да» или «нет», то сразу и проиграл, сразу тебе водить. Надо отвечать: «Пойду».

— Когда пойдете – белым днем или черной ночью?

И тут подвох.

— Когда на базар пойдете, будете ворон считать или в носу ковырять?

Вот кто-то не выдержал, засмеялся. Забыл, что губки надо бантиком держать. Ну и все, поймался!

У Лили выговор был особенный, на «а», «масковский». Поэтому Костька Бакловский незамедлительно придумал Лиле прозвище – Масквичка, да еще и дразнилку придумал:

Была в Маскве,
Хадила па даске.
С даски упала,
Жопу замарала.

Однако Лиля на его дразнилки не обращала ни малейшего внимания, даже как бы совсем не слышала.

Но вот сейчас девчонки играют в мяч, подбрасывают его высоко вверх и выкрикивают: «Астрахань!» или «Кострома!». «Кострома» ловит мяч и кричит: «Стой!» Кидает мяч в кого-то из замерших игроков, и если попадает, то уже он водит.

Мальчишки в это время сидят на бревне, оставшемся от строительства инженерова дома, наблюдают, Санька и Миколка Лукины дымят сигарками самосада. Братья Куделины ерзают по бревну, давно уже готовые присоединиться к девчонкам, но пока выжидают. Костька Бакловский отвернулся в сторону, будто бы ему игра совсем безразлична.

— Мальчишки, что же вы сидите? Давайте с нами! – зовет ребят Лиля.

Санька с Миколкой загыгыкали, выставя напоказ вперекос расставленные и уже прокуренные зубы. Костька презрительно скривился, жидко сплюнул на землю. Валька и Витенька Куделины погрустнели и пошли домой.

На другой день Лиля с девчонками разучивала еще одну игру, интересней прежней. Братья Куделины не выдержали и

встали с девчонками в круг. Вслед за ними вступили в игру Шурка и Мишка Ратмановы. Лиля подбежала ко мне, схватили за руку и силком потащила к ребятам.

И вот на бревне остались только Костька да куряки Лукины. Костька демонстративно вытащил колоду карт, и они втроем стали резаться в очко на шалбаны.

А что же Тамарка? А Тамарку в то лето мать отдала в швейную артель учиться на портниху. Всему свое время.

Да и кто бы мог подумать, кто мог знать, что вот пройдет года четыре, ну, пять, и вот закурчавятся у Костьки Бакловского волосы — из кольца-то в кольцо, пробьется темный пушок на верхней губе, и вот он в наглаженных брюках, в голубой рубашке выйдет утром из дому и будет прогуливаться у старого вяза, поджидать Лилю Королеву, чтобы вместе рядышком пойти в школу.



Инженер

Пять толстых, высоченных тополей росли по наружной стороне Инженерова огорода. Они стояли в ряд, в одну линию, на равном друг от друга расстоянии. Все одинакового роста, в полном расцвете сил, могучие деревья летнею порой были похожи на крепкую богатырскую заставу.

Тополя были здесь посажены давно. Они выполняли работу естественных природных насосов, выбирали излишки влаги из сыроватой, болотистой низины, расположенной рядом. И действительно, земля тут подсохла и даже показалась Инженеру пригодной для того, чтобы поставить в этом месте дом.

В свой дом Инженер вкладывал, видимо, немало денег, а кроме того – немало и души. Железная кровля дома была выкрашена суриком, обшитые рейкою стены – золотистой охрой, а наличники и крыльцо – краской небесной голубизны. Когда строительство дома было завершено, Иван Николаевич все свободное время, все вечера и выходные дни отдавал работе на примыкавшем к подворью приусадебном участке. В какую бы рань ни пройти мимо его огорода – он уж там, блестит на ярком солнце покатаая, потная спина, сверкает, будто горшок поливанный, обритая наголо голова. Даже мама наша – уж на что труженица – и та всегда с похвалою и одобрением отзывалась о его трудолюбии: «Вот так уж и молодец, Анженер, вот так уж и старатель!».

Конечно, не из меркантильных соображений колулся в земле в поте лица своего инженер Королев. Ведь он зарабатывал в затоне тысячу рублей, деньги по тем временам немалые «Подумать токо – тыщу рублей зарабатывать, а на работу-то, гляди-ко, в кителе да в брючках ходит!» - ахала мать. Как ей было не ахать – «пензию за отца» на пять ртов

сама шестая ей давали всего каких-то двести с небольшим рублей.

Кроме того, жена Инженера, тетя Маруся, числясь домохозяйкой, шила на дому женские платья и слыла самой модной на всю округу портнихой. Вот потому и была всегда как куколка разодета их единственная дочка Лиля. Заказы кое у кого тетя Маруся не брала, а только у людей более или менее состоятельных и денежных. Крыльцо у нее всегда было заперто на внутренний замок. Тетя Маруся боялась того, что вот кто-нибудь донесет на нее куда нужно, придут инспекторы райфо и обложат ее налогом.

В общем, денежки у Королевых водились, и если большинству жителей улицы усады позволяли хоть худо – бедно сводить концы с концами и не помереть с голоду, то для Инженера он был только подспорьем, да средством занять досужее время.

Справедливости ради надо сказать, что землю Инженер любил, вкладывал в нее много сил и – опять же – души. Сейчас мне закрадывается в голову даже такая мысль – уж не взял ли Корольев под участок этот бросовый пустырь с тайным умыслом превратить его в цветущий сад?

Иван Николаевич привез на участок несколько машин хорошей жирной земли, как по чертежу умно распланировал его, посадил ровными рядами саженцы яблонь, слив, вишен, ближе к забору кустики крыжовника, смородины, малины. На взбитых как пух грядках посажены были все необходимые овощи.

Однако – шло время, а овощ на огороде у Инженера рос каким-то невзрачным, ягода была мелкой да кислой, а яблони долго чичеревели, не принимались как следует в рост.

Ивана Николаевича, разумеется, такие результаты не радовали, но поделиться своей незадачей ни с кем из соседей он не хотел. Неразговорчивым человеком был Инженер. Мужики нашей улицы тоже были не ахти какими краснобаями, а все уж, если кто на лавочке или на крыльце

сидит, а сосед в это время мимо идет, так обязательно перекинутся словом другим, а то и посидят, выкурят по сигарке самосаду. Иван Николаевич не курил, вина не пил, поэтому ни повода, ни резона останавливаться возле наших мужиков у него не было. Поздоровается да и мимо.

Тетя Маруся тоже не шастала, как другие наши бабы, по домам, все была занята шитьем. Но ведь она, что ни говори была женщиной, а женщине уж всегда хочется лясы поточить. Вот и тетя Маруся как-то наладилась – нет-нет да и придет к маме с полчасика поболтать о том, о сем.

Тетю Марусю Иван Николаевич привез в наши края из Белоруссии, девичья фамилия ее была то ли Корбут, то ли Корзун. Поэтому и выговор у нее сильно отличался от нашиенского, поэтому и Лиля говорила мягко, по-«масковски».

В один из приходов к нам, тетя Маруся заприметила балалайку, взяла ее в руки и прямо-таки удивила всех замечательной искусной игрой. Между мамой и тетей Марусей стали складываться доверительные отношения. И вот как-то она пожаловалась маме:

- Трудится, трудится Иване на огороде, а что-то худо у нас все родится. Вот яблони вроде стали плодоносить, а откусишь яблоко – глаза гляди того на другое лицо вывернет. Да и другое все невкусное.

Не иначе, как эти проклятушие тополя всю добрую силу из земли забирают. Корни от них – вот толще руки даже – по всему огороду распространились. Иване их каждый год топором вырубает, вырубает, да разве ж их вырубить все? Прямо наказание Господне да и только ...

Мать согласно кивала головой, но посоветовать что-либо не решалась – Королевы и сами люди неглупые.

Иван Николаевич, поняв, что откапывать и вырубать тополиные корни, дело бесполезное, надумал обкорнать сами деревья. Спилить дерево наовсе – хотя бы даже и

тополь – у нас в улице считалось дело нехорошим. Не тобой посажено – вот и не трогай.

Инженер знал это, посему и решил для начала хотя бы постричь, покровсать могучие кроны деревьев, в надежде, что эта операция уменьшит ненасытный их аппетит. С длинной лестницы без посторонней помощи отпиливал он ответвление за ответвлением. Когда же закончил это нелегкое дело, деревья стали похожи на ивалидов, уродцев каких-то.

Однако через год, другой тополя пустили новые молодые побеги и корни из земляных недр вновь погнали вверх животворные соки, должно быть с не меньшей, а с еще большей силой, стремясь восстановить утраченное. Вскоре тополя закудрявились пуце прежнего.

Убедившись в бесполезности и этой своей затеи, Инженер решился все же спилить тополя под корень. Подрядил сноровистых мужиков, и они в два дня справились с поставленной задачей – спилили тополя.

Пока тополя были целы, аккуратный, нарядный Инженеров дом и многолиственные, зеленошумные деревья так хорошо дополняли друг друга, что с какой стороны ни зайди – все любо-дорого глядеть. А теперь дом как-то сразу нехорошо оголился, совсем одиноко ему стало на пустыре. «И дом теперь стоит как дурачок, и улица вся ровно дура стала», - сокрушалась мама.

Но дело было сделано. Инженер, должно быть, втайне радовался – кончились его мучения. Однако радоваться было рано. От деревьев остались пеньки, и вот от этих пеньков бурно поперли многочисленные побеги. И как весна – так опять Иван Николаевич ходит вдоль забора с топором, обрубаёт от пеньков молодь.

Вот занимается Инженер такой работой а мимо идет Александр Лемашов, маленько под градусом.

- Что, Иван Николаич, все воюешь? Тополя – они такие ... Их истребить – дело непростое!... Н-да... А ведь эти тополя еще Кирилл Павлыч сажал, царство ему небесное. Я мальцом

тогда был, а все ж-ки помню. Болотина, вишь, тут была, на этом месте. А как взялись тополя, так и пропало болото. А теперь что? Нету тополей – значитца опять болоту быть... Никуда не денесса!...

Лемашов надвинул на глаза промасленную кепку, куда шел, туда и дальше пошел.

Впоследствии по его слову все и вышло. Пеньки в конце концов подсохли, заглохла тополиная молодь. А вслед за этим все мокрей, все болотистой становился Инженеров огород. И какого бы песку, какого бы торфу, навозу или перегною ни возил на участок Иван Николаевич – все проваливалось, все уходило как в прорву.

Вскоре начали гибнуть деревья. Кора на стволах у яблонь стала трескаться, отмыкаться, мочалиться. Высохли, почернели сливы и вишни.

Овощ в дождливый год вся вымокнет, в засушливый вроде бы и уродится да все – хоть огурец, хоть помидор, хоть картошка – все невкусное, все болотом пахнет.

Улица наша называлась именем великого садовода Ивана Владимировича Мичурина. Его знаменитое изречение: «Нам нельзя ждать милостей от природы, взять их у нее – вот наша задача» в те послевоенные годы было у все на устах и стало не только афоризмом, лозунгом, но и оказалось возведенным до руководства к действиям государственного масштаба. Много чего натворили тогда покорители природы. Иван Владимирович, конечно, тут ни при чем, его слова были сказаны по какому-то частному поводу, и если бы он мог предвидеть все последствия, разве бы стал он говорить такое? Инженер Иван Николаевич Королев в своих действиях, тоже должно быть, руководствовался мичуринским лозунгом. Он был умным, сильным, настойчивым человеком. Однако многолетняя упорная борьба с силами природы всего-то на нескольких сотках земли закончилась не в его пользу.

Дерева вы мои, деревья

Известно, что деревья придают много красоты любой местности. Много красоты придавали они и нашей улице. Иные из них, должно быть, были когда-то кем-то посажены, а иные росли так по воле случая и своей прихоти. В основном все деревья были большими, рослыми, многие так просто уже старыми, и были они самых разных пород.

На входе в улицу со стороны дороги-каменки по краю первого оврага стеной стояли, будто бы за руки взявшись, вековые вязы. Кроны их соединились ветвями, а корни по склону оврага кое-где вылезали из земли наружу. Когда я был еще сопливым мальцом, катались мы с ребятами в этом овраге на лыжах, и вот застряли у меня в прикрытых, замаскированных снегом переплетениях узловатых корней и одна лыжина и валенок. Сколько я ни пытался их оттуда вызволить – ничего не получалось. На одной лыжине и в одном валенке в расстроенных чувствах пошел я домой, а то, что осталось в корнях, ходил уж вытаскивать брат.

И по краю второго овражка, что мокрою низиною пролегал между домами Бакловских и Тардовых, тоже росли деревья – несколько берез и огромный старый вяз.

На болотистом влажном пустыре за Бакловским колодцем привольно жилось вековым дуплистым ивам. У одной из них внизу непомерно толстого ствола зияла чернотой огромная трещина. Через нее даже можно было зайти внутрь полого дерева, а там – темень, жуть и кисло-сладкий запах древесной трухи. Когда-то давно кору дерева, видимо, разорвало, древесина начала преть и выветриваться, так и образовалась внутри пустота.

У дома Кирилла Павловича Лукина росла черемуха и тоже уже очень старая. Раскидистые ветви ее дугами загибались

чуть не до самой земли, некоторые сломались от старости и лежали тут же, в траве. Весной черемуха становилась похожей на огромное белое облако, и горьковато-терпкий дух, источаемый ею, гулял по всей улице.

Приходило летечко, и в свой черед зацветала липа, она стояла около крыльца Куделина дома. Вот ее, пожалуй что, посадили. Прежде липку нередко сажали возле крылечка, считая, что она принесет в дом мир и согласие. Зацветет, заневестится липа, и теперь уж ее медвяный запах несколько дней витает меж домов, зайдет, заглянет в раскрытые окошки, вязкой сладостью расстилается по земле и в вечерних призрачных сумерках, и в чернильной мгле ночи, а с восходом солнышка, с самого раннего ранья манит к себе мириады златокрылых пчел.

И день-деньской гудом гудит душистая липа...

Напротив своей избы через дорогу дядя Кирилл посадил когда-то давно пять тополей, и они за прошедшие годы превратились в стройных могучих красавцев. И волглый пустырь, где они были посажены, подсох, пропала там мокрота.

Возле дороги, что вела к МТС, и возле ее конторы вразброс росло несколько берез, они стояли поодаль друг от дружки, ничто не мешало им расти так, как хочется, поэтому они самым непринужденным образом разбросали свои ветви-руки на все четыре стороны.

Вдоль улицы у домов перед окнами у многих были палисадники с георгинами и золотыми шарами, у кого-то росли рябины и акации.

Нельзя не упомянуть и о яблоне-китайке, что распоселилась у самого забора в нашем огороде через дорогу напротив нашего же дома. Яблоня была так стара и так велика, что ветвями своими распростерлась чуть ли не во всю ширину огорода, и чуть не половина яблони перекинулась за пределы огорода на улицу. Когда яблоки поспевали, они в изобилии падали на землю как по ту, так и по другую сторону

забора, так что и земли-то не было видно из-за слоя карминно-алых плодов. Их было так много, что китайкой набивали карманы все, кто хотел, и таким образом яблоня щедро угощала своими плодами все босоное племя нашей улицы.

Между нашим домом и домом Бакловских росли две березы, они стояли рядышком, так близко, что кто-то из взрослых прибил к их стволам на высоте метра два железную трубу, и получился турник. Мы, ребята, частенько висели на этом турнике, пытались освоить кое-какие упражнения. Наш Шурка однажды повис на турнике вниз головой на одних только носочках ног, и повторить этот трюк никто больше не решился.

На одной из этих двух берез висел старый, серенький от времени, от дождей и снегов скворечник с коричневой проржавевшей жестяной крышей. В нем каждый год селились скворцы. В мае, когда на березах появлялись первые листочки, и они ярко-зелеными каплями сияли на золотистом утреннем солнце, крапчатый скворушка, сидя на полочке возле летка, с упоением выводил свои переливчатые трели, будто хрустальные горошины перекатывал в горлышке. Отец, покуривая после завтрака в приоткрытое окошко, все поглядывал на маленького остроносого артиста, и лицо его становилось непривычно добрым и мягким.

Около березы ближе к дороге стоял колодец с журавлем, а в другой стороне, уже возле огородов, произрастал огромный тополь-гигант. Судя по толщине ствола ему и тогда уже было лет шестьдесят-семьдесят.

Тополь был одним из тех деревьев, что росли, мирно соседствовали и жили вместе с другими обитателями нашей улицы, существованием своим вливаясь в людскую жизнь и дополняя ее чем-то очень нужным. Тополь, казалось бы, жил своей жизнью, совсем непричастной к нашей, и в то же время он в меру своих возможностей пытался незатейливо

скрашивать наши дни, а может быть втайне надеялся сделать нас самих лучше и добрей.

Каждому дереву, равно как и человеку, как и любому другому живому существу, рядом обстоятельств и сопутствующих условий уготована и предопределена своя судьба. Своя судьба была предначертана и нашему тополю... Как и полагается всякому дереву, тополь зимою погружался в спячку и старался поменьше обращать на себя внимание, но уже в середине марта вся его голая и прозрачная пока еще громада наполнялась невообразимым гомоном, многогласным криком, хлопотливою возней. Тополь в это время принимал своих поселенцев, горластых своих жильцов – грачей.



Но не сразу, не сразу возникал этот переполох и неугомонный ор. Прилет грачей был почти незаметным. Устав от долгого, многодневного перелета, они рассаживались по старым гнездам и в сизом сумраке теплого мартовского вечера тихо окликали друг друга, отдыхали и

изредка только неторопливо перелетали с гнезда на гнездо, с ветки на ветку.

Передохнув ночь, грачи с утра пораньше принимались уже за дело, начинали поправлять гнезда, бойко, деловито покрикивали, что-то обсуждали, перебивали друг друга, и вскоре устраивали целый базар. И тополь безмерно был рад тому, что его жильцы возвратились, еще бы – всю зиму они пропадали невесть где. В своих ветвях тополь бережно держал чуть ли не полсотни грачиных гнезд, а может даже и больше, поди попробуй их посчитать! В эту пору и сам тополь оживал и хорошел, и веселел день ото дня.

К концу апреля все более и более набухали золотисто-коричневые тополиные почки, и не успеет еще как следует установиться настоящее майское тепло, а они вот уж и лопнули, вот уж и заблагоухали сильно и едко, запахло не только что на всю округу, а уж кажется и на весь Божий мир. И тут же тополь оденется в мириады карминно-багровых сережек. И тут же появятся молодые листочки, пахучие, клейкие и блестящие, будто бы покрытые лаком.

Несколько дней – и сережки подвянут и опадут на землю, всю-то ее укроют, много их – будто на мохнатых гусениц мор напал, и вот они лежат неподвижно. В мае – не то, что зимой, все меняется так скоротечно! Не успеешь и глазом моргнуть, а вот уж тополь весь так и трепещет под солнцем нежной и бледно-зеленой пока еще листвой, вот уж за нею и грачиных гнезд не видать, где-где только темнеет пятнышко, да доносятся из гущины деловитые отрывистые переговоры.

Все это повторяется из года в год, из века в век. Без устали, слепо, а может быть и не слепо, а по какому-то неизвестно кем придуманному закону и уставу, творит Природа свое великое дело обновления жизни.

Надо ли говорить, как хорошо жилось тополю летом под теплыми ливнями, под свежим ветерком, под ясным солнышком! К августу листья у него вырастали величиною чуть ли не с две ладони, в непогоду, встречая шквалистый

ветер, он волновался всей своей огромной массой, беспокойно шумел и роптал.

С наступлением холодов этот шум становился все тревожней, трагичней, подобно музыке Бетховена проникал в глубины души, волновал все естество. То постепенно нарастал, то конвульсивными рывками шум из ропота переходил в рокот, мощный и упругий, достигал крайнего напряжения и резко спадал, затихал, доходил до жалобного шепота. Тополь словно бы предчувствовал и переживал грядущие суровые времена.

Мне вспоминаются поздние вечера в конце августа, в начале сентября, в эту пору темнеть начинает не с шести ли часов, и к вечеру холодный воздух ледяными пальцами забирается за воротник под рубаху, и в девятом часу уж и небо вызвездится мириадами огней. Мы с мамой накормим кур и гусей, накормим поросенка Борьку, сунем ему под бок сухой соломы, накопаем и намоем свежей молодой картошки на завтрашнее варево, в общем приделаем все дела и вот тогда в черной, густой, как деготь, темноте, садимся на лавочку, чтобы передохнуть хотя бы несколько минут. Сидим и ни о чем не говорим, просто глядим на звезды и все.

Но в этот миг каждая клеточка всего существа соединялись с беспредельностью Вселенной и вселенской тишиной, которую не нарушали, а наоборот делали еще более осязаемой, приглушенные вздохи тополя, огромной темной тучей вздымавшегося над крышей, там, позади дома. В этот миг все трое – и мама, и я, и тополь с одинаковой обостренностью воспринимали и жуткую темень, и ледяной воздух, и огромные белые ледяные звезды в окоеме неба. О чем тут можно говорить? Сиди, дыши и наслаждайся сладкою тревогой, что разлита во всем твоём теле, и тою дрожью, что поет в каждой твоей жилочке.

К концу сентября тополь светлел, становился лимонно-желтым, а потом как-то сразу, быстро сбрасывал с себя листву, и она укрывала землю вокруг ствола толстым

пружинистым слоем. В двуручных корзинах мы носили лист в огород, чтобы потом перекопать вместе с землей, носили и в хлев поросенку Борьке вместо подстилки.

Вскоре тополь становился совсем голым, и только на самой макушке десятка два золотистых листиков прощально мельтешили под легким ветерком на фоне смальтовой синевы осеннего поднебесья. Пустели и грачиные гнезда, грачи вместе с молодью гуртились в стаи, готовились к отлету.

Могучий был тополь, и до поры до времени вольготно ему жилось возле нашего огорода. Да вот беда – слишком уж близко расположился он к человеку и к человеческому жилью.

В неумном буйстве растительных сил тополь так далеко пораскинулся своими ветвями, что они простирались даже и над крышей дома Александра Лазаревича Бакловского. А дом у него был изо всей улицы, большой, обшит рейкой, крыт железной кровлей. Дом Александр Лазаревич всегда старался содержать в порядке, регулярно красил его голубой масляной краской, а кровлю – железным суриком.

Однако на кровлю с тополя и берез всякий год летело и падало много листвы, а с тополя еще и сережки-червячки, и шелуха от лопнувших почек. Весь этот мусор на крыше оседал, мок, прел, и в конце концов портил не только краску, но и само железо.

И вот пытаясь устранить эту неприятность, Александр Лазаревич объявил деревьям войну. Начал с того, что спилил под корень и разделал на дрова две березы. Правда, к такому решению он пришел через несколько лет после того, как не стало нашего отца. При отце он и думать не думал даже, чтобы деревья погубить. Да ведь и не он их сажал, не ему бы и пилить.

После берез Александр Лазаревич взялся за тополь, стал кромсать толстые ответвления, что направлялись в сторону его дома. Через год-другой ветви отрастали, и он снова с длинной лестницы забирался на дерево и ножовкой укрощал

его непомерную прыть. Спилить тополь целиком не было никакой возможности, позади него располагались огороды, впереди – два дома, и для того чтобы положить громадное дерево в промежуток между ними, надо было иметь большое искусство. Ну, а в первую очередь, где же было взять такую пилу, чтобы одолеть этот необъятный ствол?

... Прошло много лет. За эти годы и Александра Лазаревича не стало, и в его доме, и в нашем появились новые хозяева. И в других домах не стало прежних жителей. Лет через сорок не узнать стало нашей улицы – пропали куда-то все деревья что росли здесь прежде. Ни тебе вязов, ни берез, ни лип – ничего!

И только один наш тополь, высоченный и обкромсанный со всех сторон, будто перст Божий, возвышался над домами, заметный издалека. От тополя остался один только основной ствол, с короткими обрубками ответвлений он стоял, как ростральная колонна, и все равно, даже и на этих обрубках грачи умудрялись каким-то образом устраивать свои гнезда. К этому их обязывал выработанный многими десятилетиями инстинкт. Гнезд оставалось порядочно, еще десятка с два.

... В прошлом году в мае в середине дня по местному радио объявили штормовое предупреждение, а к вечеру и впрямь взялся сильный порывистый ветер. От резкого шквального удара ветра тополь упал, упал сам...

Новые жильцы Бакловского дома, да уже и нашего, продолжая начатое Александром Лазаревичем дело, не только сверху кромсали тело тополя, но и регулярно из года в год подрубали его могучие корни, что тянулись в огороды. Тополь стоял на земле уже как тумба без связи с землей, на одном только основном стволе, поэтому ничего удивительного нет, что его порывом ветра опрокинуло наземь. Удивительно другое – тополь несмотря на многолетнее издевательство со стороны людей, не захотел причинять им зла – постарался лечь точно между домами,

чуть только задев вершиною крышу бывшего Бакловского дома.

От сильнейшего удара об землю вдребезги разбились многочисленные грачиные гнезда. В них к тому времени находились неоперившиеся еще как следует большеротые птенцы. Никак не смог их уберечь от беды тополь. Ополоруевшие от ужаса и горя грачи, целый день с душераздирающими криками кружились над поверженным деревом, над беспомощно барахтавшимися птенцами, не понимая и не принимая случившегося.

Так погиб тополь, последний из могикан нашей улицы. Пусто, скучно и тоскливо сделалось здесь без деревьев.

Упавшее дерево ловкие ребята принялись разделывать на дрова с помощью бензопилы. Но чем ближе к комлю, к основанию ствола, тем трудней было отделить от дерева хотя бы небольшой, теперь уж и не чурбан, а кусок.

Прошел год, и я пошел посмотреть, управились ли с тополем пыльщики. Нет, и через год со всех сторон обгрызанный пилою комель так и лежал в прогале между домами...



Пирогы с черникой

- Гляди, гляди! Микера новый пароход сделал! - внезапно крикнет кто-нибудь в разгар игры, и вот ребята наперегонки бросятся к эмтээсовскому дому, вот карабкаются, взбираются на завалинку, и отталкивая друг дружку локтями, заглядывают в окна квартирки, где живет дядя Никифор. А там на подоконнике действительно стоит и сушится на солнышке только что сделанный и только что раскрашенный им пароход-колесник. Весь прямо как настоящий – с рубкой, с трубой, с мачтами, и даже флаги на мачтах развеваются. Искусно и старательно нарисованы все окошечки, все иллюминаторы. А на носу и на кожухе гребного колеса киноварью выведено название парохода.

Дядя Никифор, а по уличному просто Микера, работает в МТС слесарем-ремонтником, ремонтирует трактора, комбайны и всю прочую сельскохозяйственную технику, живет он в казенном, специально и предназначенном для механиков и слесарей доме, а на досуге мастерит из дерева и жести маленькие модели пароходов. Куда он их потом девал – не знаю, может, даже и продавал кому.

Контора, жилой дом и мастерские МТС занимают довольно обширную площадь рядом с нашей улицей, и эта территория первоначально была обнесена добротным забором с въездными распашными воротами, но жители улицы постепенно все отрывали и отрывали доски забора для своих нужд, хорошая доска в хозяйстве никогда не лишняя, и забор все редел и редел. Теперь во многих местах от него остались только столбы с жердями, да еще вот эти никогда сроду не закрывавшиеся въездные ворота.

Однако сейчас, поди, мало кто и знает, что это за штука такая, МТС. МТС, или машинно-тракторные станции, в те

времена выполняли в колхозах всевозможные сельскохозяйственные работы – и весновспашку, и сев, и уборку урожая, своей техники в колхозах тогда не было. А на территории самой МТС все эти машины, трактора, комбайны, жатки, сеялки и веялки содержались, ремонтировались, готовились к работам.

К МТС в конце нашей улицы, пересекая ее, а потом минуя въездные ворота, ведет широкая грунтовая дорога, весной и осенью невообразимо грязная, вдрызг разбитая машинами и тракторами, летом же эта дорога покрыта полуметровым слоем мелкой и белой, как мука, пыли. Идешь по ней босиком, а ноги по щиколотку утопают в мягкой, податливой и такой ласковой теплыни. Правда, к полудню пыль нагревается так, что уже довольно ощутимо обжигает, казалось бы, уж до твердокаменности заскорузлые пятки.

Почти что сразу за въездными воротами в окружении развесистых берез стоит голубой дом с красной железной кровлей, с полинявшим флагом над коньком – это контора. Тут сидит начальство - директор, разные счетоводы и учетчики, щелкают на счетах костяшками. Мастерские и гаражи – они чуть подальше, а вот тут же сразу, только по другую сторону от конторы, через дорогу располагается довольно большой, бревенчатый, буквой «Г» построенный дом, в нем живут семей пять постоянных работников МТС.

Здесь же живет и наш дядя Никифор. Комнатенка, где они обитают вдвоем с женой тетей Катей, совсем крохотная. Там и убираются-то стол, две табуретки, кровать да сундук, прикрытый лоскутным одеялом. Ну, еще небольшая печка у входа в уголке, без печки нельзя. И дядя Никифор и тетя Катя – оба росточком невелики, а то бы им в такой тесноте и не повернуться. Хорошо хоть детей у них нет.

В обычный будничный день и лицо дяди Никифора, и руки, и фуфайка, и штаны – в общем, все черным-черно, и лишь одни глаза отливают жутким мутно-оловянным блеском. Но и в выходной, и в праздник серое, старое лицо

его больше напоминает промасленную скомканную газету. На мокрой, лиловой нижней губе обязательно висит, прилипла сигарка – самокрутка.

От беспрестанного курева, а курит он наикрепчайший самосад, дядя Никифор беспрестанно кашляет, подхеркивает, вот его и прозвали Микера-херкало. Ходит он как-то странно – будто на невидимом стуле сидит и так вот, на стуле сидя, и перебирает ногами.

Про его походку Костыка Бакловский говорит – будто в штаны наклал.

И у тети Кати, жены его, поступь примерно такая же. Вот идут они на базар или еще куда вдоль нашей улицы, дядя Никифор впереди, сосет свою цыгарку, тетя Катя на некотором расстоянии сзади, а им вслед:

Задымил наш паровоз,

Покатил под горку.

Это херкало Микера

Закурил махорку.

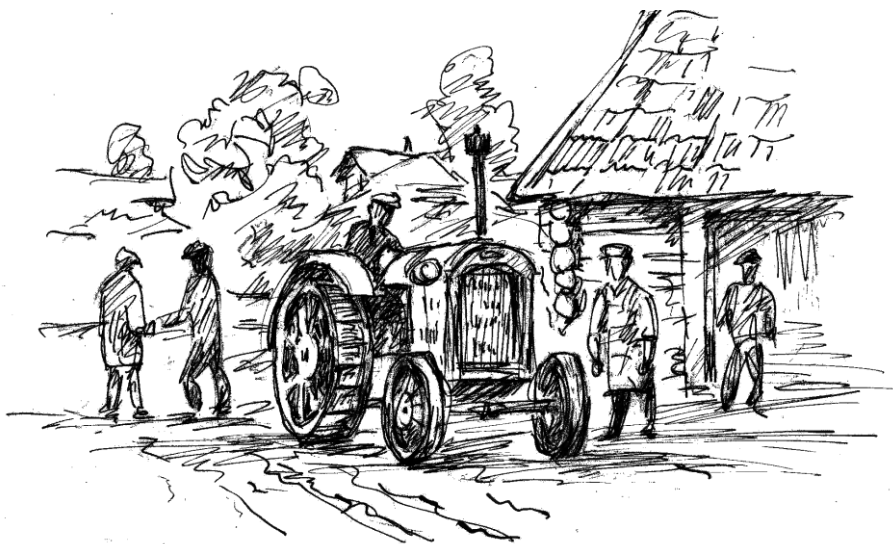
Однажды дядя Никифор сделал Борьке Куликову, сыну директора МТС, пистолет с виду прямо как всамделишный, только стрелял он шариками от подшипников. И механизм придумал сам хитроумный, пружина там была очень сильная, и бил пистолет здорово.

Детей дяде Никифору Бог не дал. Чтобы как-то занять и скрасить досуг, и мастерил этот странный несуразный человек маленькие игрушечные пароходики. Удивительно было, как это ему удавалось с его-то корявыми клешнями руками.

К энтээсовскому дому нас, уличных сорванцов, привлекает удобная для игр хоть в чижик, хоть в ножички, просторная площадка, но еще больше манит и привлекает нас свалка, что находится за ремонтными мастерскими, огромная куча отслуживших свой срок деталей машин и механизмов.

И чего, чего тут только нет! Лишившиеся зубьев шестеренки, подгоревшие поршни, сносившиеся пальцы,

побитые аккумуляторы, помятые радиаторы, сгоревшие обмотки роторов и статоров, и все это перевито километрами перепутанной, завитой в серпантинные спирали сине-лиловой металлической стружки, оставшейся после проточки деталей на токарном станке. И вот по этой куче завсегда не спеша ходят два – три пацанчика, ковыряются, перебирают, внимательно разглядывают каждую железячку, соображая для какой надобности может она сгодиться.



А полезного и нужного тут много. Здесь можно найти колесико для катания, в ту пору у ребят-мелкоты было такое развлечение – катить по дороге колесико с помощью проволочной каталки, согнутой в виде буквы «у». Идешь, а впереди тебя поет, вызванивает, катится по дороге легкий стальной диск, и ты управляешь им, подталкиваешь и направляешь каталкой куда надо. «Колесико, колесо, больно едет хорошо!» Для таких колесиков годились старые диски сцепления.

А шарикоподшипники? Пару штук нашел и можно сделать хороший самокат.

Пацаны постарше ищут на свалке медяхи. Их принимают в утильсырьё, и в обмен на них дают рыболовные крючки-заглотыши. Такому крючку и цены нет для того, кто хоть что-нибудь понимает в рыбной ловле. Здесь же можно найти здоровый, увесистый стальной «пятак», готовую битую для игры в чеканку, можно найти медную трубку для пугача или поджига, свинец для грузила к удочке, медную и стальную проволоку разной толщины и еще много, много всяких нужных и полезных вещей. Сюда приходят даже великовозрастные парни, когда нужно найти хорошее стальное полотно для фаяра или свинец для кастета.

Черномазы слесари с матерщиной шугали нас с кучи, запчастей не хватало, и часто случалось так, что им и самим что-то становилось нужным из выброшенного. Однако директор МТС, Григорий Александрович Куликов не то чтобы в приказном порядке, но все же дал понять им, что не надо уж больно-то шугать пацанов, что игрушек-то у нас нет вовсе никаких, и денег на покупные игрушки взять неоткуда. И что же это будут за пацаны без самоката и удочки, без рогатки и пугача.

Григорий Александрович был умным, правильным мужиком. Еще и до войны он заведовал МТС, и как только после войны вернулся живым и невредимым домой, сразу же и встал на свое прежнее место, сразу же и принялся за дела.

Ну, не совсем уж сразу. Прежде всего в честь благополучного возвращения директора была устроена веселая, хорошая пирушка. Я был тогда совсем, совсем мал, но день этот врезался в память четко, отчетливо.

... Прямо на улице во дворе эмтээсовского дома составлены в ряд сразу три стола, вокруг них скамейки, стулья, а на столе четверть водки и пусть не очень-то разнообразная, но какая-то закуска, а за столом полно народу,

все тут – и механики, и слесаря, и их жены, и ребята тут же спуют, увиваются – как же без них!

За таким хорошим делом радости, смеху, веселья – хоть отбавляй!

Кто-то заводит патефон, кто-то играет на гармонии, а сам Григорий Александрович лихо отплясывает, хлопая ладонями и по затылку, и по груди, и по ягодцам, и по голенищам высоких офицерских сапог. Льяные волосы его растрепались, лицо вспотело и покраснелось до морковного цвета. Но контроля ни над собой, ни над ситуацией он не теряет. Вот, приметив нас, сопливых мальцов, сбившихся в кучку и с наивным любопытством глазающих на происходящее, Григорий Александрович уgomонился на минуту, поправил волосы, поправил ремни на льялой гимнастерке, достал вещмешок, вызволил из его недр большую пригоршню белых сладких сухарей и оделил нас всех до единого.

Григорий Александрович очень любил пироги с черникой, и когда наступала ягодная пора, жена его, тетя Анфиса, обязательно уж ему потрафит, а мы, уличная ребятня, каким-то нюхом угадывали этот день, с утрачка пораньше как бы случайно оказывались и крутились возле их дома. И как только пироги бывали готовы, тетя Анфиса, добрая душа, выйдет на крылечко, вынесет нам по большому куску с пылу, с жару тепленького пирожка.

Их старший сын Борис был подроцей моему брату Витюхе. У Куликовых имелась лодка, и Борис пользовался ею, когда хотел. На этой лодке он и еще человек пять его друзей сверстников, в том числе и Витюха, иногда отправлялись порыбачить бреднем на Воложку. Я увязывался за Витюхой в этот не ближний речной вояж. Однако и он, и другие компаньоны Бориса гнали меня в шею, потому что им я был отнюдь не товарищ и не ровесник. В конце концов последнее слово оставалось за Борисом, ведь он хозяин лодки

и старший из всех он, и Борис всегда великодушно говорил: «Да ладно вам! Пусть идет, жалко что ли?»

С делами Григорий Александрович управлялся неплохо. Перед посевной ли, перед уборочной ли на территорию МТС прибывала агитбригада культработников. И молодые девушки в красных косынках с импровизированной сцены пели под баян задорные, боевые частушки.

Запевай, подруга, песню,
Наше слово золото –
Крепнет пусть по всей стране
Союз серпа и молота.

И вот воодушевленные на трудовой подвиг механизаторы встают со скамеек, и вот уж затарахтели, затрещали трактора, забрунжали газогенераторные грузовики – полуторки, и пополз, и поехал караван сначала к дороге – большаку, а там уж везде, по всему району.

Кипит работа на полях, учетчики дают сводки счетоводам, те – бухгалтерам, сам Григорий Александрович отчет держит перед райкомом да перед райисполкомом. К боевым его наградам стали прибавляться и трудовые.

Так бы и дальше шло оно своим ходом, однако в конце пятидесятых годов все машинно-тракторные станции ликвидировали, а технику передали в колхозы. Григорий Александрович был человеком партийным, и его с одной руководящей должности перебросили на другую, он стал председателем одного из колхозов. Ну, что же, дело знакомое, опять – сев, сенокос, уборка зерновых... Опять пошло все своим чередом.

Но вот однажды в райком с партии Григорию Александровичу попеняли – хороший ты коммунист и руководитель хороший, только вот почему это у тебя жена такая религиозная? Не пристало это вроде бы для коммуниста.

Тетя Анфиса и вправду была женщиной набожной, в доме было много икон, и все праздники религиозные она

соблюдала. Об этом и донес кто-то из «доброжелателей» Григория Александровича в райком, и тот, не долго думая, взял да и сжег все иконы в печке. Ах, как сокрушалась, как горевала и плакала тетя Анфиса!

Колхоз, где председательствовал Григорий Александрович, был хоть и недалний, но все равно каждый день приходилось ему ездить на «козлике» утром из дома в колхоз, вечером обратно. И вот попадает он по дороге в аварию и разбивается насмерть. Такой вот получился случай...

Был месяц октябрь. Тетя Анфиса в день поминок напекла пирогов с сушеной черникой и обносила ими всю улицу: «Гриша уж больно любил с черникой-ту. Уж так любил...».

Лес

Ещё и дороги не везде просохли, ещё и лист на деревьях не успел распусться, а мама уж в огороде, вовсю уж делает грядки, охлопывает их по бокам заступом, ей уж надо сеять и высаживать разную огородную рассаду. А рядом с нашим огородом стоит высоченный тополь, на тополе этом несметное количество грачиных гнёзд, а следовательно, и самих грачей. Чтобы предохранить всё посеянное и высаженное от их разбойных нападений, а ещё и от кур, а ещё и от палящих лучей майского солнца – ведь только что высаженная рассада нежна и слаба, - мама прикрывает грядки еловым лапником.

Но прежде его надо было привезти, и всякий раз, всякий год надо было за лапником ехать в лес, ездили туда с тачкой, с обычной деревянной двухколесной тачкой.

Вот отец во дворе смажет её оси дёгтем, наденет колёса, верёвку, смотанную восьмёрками, привяжет к копылку, и когда всё готово, можно отправляться. В лес идёт вся мужская половина семьи, к неописуемой моей радости даже и меня берут. В вояж нашли для меня чьи-то старенькие стоптанные сапожонки, замызганную Витюхину пальтушку и такую же кепчонку. Как самого малого меня сажают на тачку и – поехали!

Шурка впрягся в оглобли тачки и нетерпеливо поспешает вперёд, однако отец не торопится, едва заметно припадая на нездоровую ногу, он идёт размерено, спокойно, суеты да спешки он не терпит никогда и ни в чём.

Вот уж осталась позади старая, крытая красной черепицей кузница, всё ближе и ближе подвигаются знакомые серые избы Кореева. Изюм всей деревни особенно приметен двухэтажный дом с каменным белённым известью низом, с

наличниками выкрашенными в ярко-синий цвет. За этим домом – узкий прогон между двумя огородами, а там, чуть подалее, неглубокий овражек с поросшим осокою дном и даже кое-где с болотинкой, со ржавой водой между кочек.

По краям овражка растёт реденький хилый березняк да кое-где корявая ёлочка. Здесь, у овражка, на прогретых солнцем полянках, на бугорках возле гнилых пней-развалюх особенно духмяной и сладкой вызревает в разгар лета земляника, а из-под подола ёлок с реденького кустика нет-нет да и выглянет синим глазом черничка.

В летнюю ягодную пору мы, ребяташки-мелюзга, у овражка за Кореевом гуляли безбоязненно, тут уж не заплутаешься – деревня видна отовсюду. Отправляясь в Кореевский овраг, мы брали с собой кто эмалированную кружку, кто поллитровую банку с подвязанной вокруг горловины верёвочкой, а кто и маленькую корзиночку. Старательные ребятки ягодка по ягодке, а глядишь, и полную кружку наберут. Кто ягоду в рот да ягоду в посудину кидает – у тех поменьше. Бывают и такие, что про кружку и вовсе забывают, а всё, что ни попадётся, горстями в рот кладут.

А какой радостью займётся сердчишко, если вдруг попадётся притаившийся в траве ядреный красавец-подосиновик в поджаристо-малиновой шляпе! Их у нас называли боровиками, а белый – он так и есть белый. Повезет, так и его найдешь, на солнышке, на открытом месте они загорелыми бывают да на высокой ножке, совсем не такие как в темном лесу. Ну, что – если к этому еще и пару чельшиков удастся срезать, то вот тебе уже и супчик может получиться.

По солнцу, по тому, как оно начинало припекать голову и руки, и спину, мы чувствовали, что время близится к обеду, а когда со стороны затона доносился далекий гудок, мы отправлялись домой. По дороге, срывая метелки пырея и загадывая друг другу: «Петух или курица?», пиная коричневые шарики «дедушкиного табака», ребятки мало-

помалу отбавляли из своих посудин, а те, кто ничего не набрал, еще и попрошайничали, и все-таки оставшихся ягод хватало, чтобы за обедом залить их холодным, из подполья, молоком, размять в кружке деревянной ложкой, а потом прихлебывать из нее, раздавливая ягоду за ягодой языком о нёбо.

В большой, настоящий лес, что начинался сразу за Кореевским оврагом, нам ходить было строго-настрого заказано, да и самим нам он казался жутким, страшноватым. И вот сегодня меня взяли, сегодня мы идем в этот лес, вот он совсем уж близко. Высоченные, могучие сосны и ели с головы до ног залитые солнцем встречают нас на входе, и вовсе не хмуро встречают, а наоборот приветливо и ласково, как дорогих гостей.

Дорога нырнула вглубь леса, в прохладный зеленый полумрак. Кое-где меж деревьев светлеют голубые озерца больших луж с талою водой, в их безмятежной синеве плывут отраженные белые облака, чуть колышутся опрокинутые отражения рыжих стволов сосен.

Залитые солнечным светом вершины сосен упираются в густую синь неба, на их стволах пляшут веселые солнечные пятна, а в глубине леса сумеречно, сырым холодом несет оттуда.

И все же, как хорошо, как замечательно сегодня в лесу! Со всех сторон слышатся звучные, отчетливые голоса – посвисты, трели, шелканье, гомон разных птиц, прямо целый птичий оркестр!

И как удивителен свет, как чудесен воздух в этом весеннем лесу! Сколько в нём незнакомых, волнующих запахов! Всё тут смешалось - и дух перегретой на солнце хвои, и смолки, слезами стекающей с сосновых стволов, и талой воды, и только что лопнувших почек.

Мы с Витюхой, очистив от кожицы по тонкому берёзовому пруту, послунывили их и положили в огромный муравейник, где уже вовсю юрко сновали,

занимались своими хозяйственными делами неугомымые лесные работники. Через минуту-другую вынимаем и лижем эти палочки, а язык пощипывает что-то кисленькое, терпкое.

Отец с Шуркой тем временем отправились в сторону от дороги, затюкали топориками, а мы принялись таскать и укладывать на тачку густой, пушистый лапник. А лес всё звенел и звенел весёлым весенним перезвоном. Как ребёнок, да и не только ребёнок, а и всякий здоровый человек, пробуждаясь ото сна, чувствует, чует безотчётную радость в теле, слышит, как счастливо звенит в нём каждая жилка, так вот и сейчас в ожившем, отошедшем от зимнего сна лесу всякое дерево и всякий кустик, и даже каждая неприметная травинка поворачивались к свету, будто бы улыбались тёплому солнышку, в каждом лесном существе звенела своя песня, а все вместе они сливались в один безудержно радостный гимн тому, кто всё это придумал, создал и так замечательно устроил на земле.

Уже тогда я не то, чтобы понимал – что я мог понимать с моим малолетним разумом! – но всё равно, каждой клеточкой своего существа я осознавал, что вот это – смотреть в высокое бездонное небо, на блистающие под солнцем деревья, слушать голоса птиц и бормотание ручья, дышать запахами земли и трав, хоть на кратное время слиться с природой всеми своими чувствами – это и будет теперь самой большой для меня радостью на всю оставшуюся жизнь...

Наступило лето, последнее лето в жизни отца. Болезнь все больше и больше донимала его. Ему дали третью группу инвалидности, и он стал сторожить склады в конторе «Заготзерно». Дежурства были через двое суток, и отец, если болезнь отпускала, иногда отправлялся так уж, просто ради прогулки, в лес. Настроение у него было печальное, он уж предчувствовал, видимо, свой близкий конец, а в лесу надеялся хоть немного развеять грустные мысли. Бывало, что и нас с Витюхой брал он в эти недалёкие прогулки. Понемножку я стал узнавать какие бывают грибы и про их

повадки, где и как их искать. Отца в лесу будто подменяли, глаза его оживали, он оттаивал там душою.

Вот неторопливо идем мы по старой лесной дороге, а в заросшей мелкою травкой колее нет-нет да и выглянет коричневая головка беленького грибка. В узлаватых корнях старых елок под пластом слежавшейся хвои палочкой наковыряет отец сопливых зеленоватых груздей. А сыроежки – те и не таятся, стайками высыпают прямо под ноги.

Дымные золотисто-голубые солнечные лучи наискось пересекают, пронизывают толщу леса от верхушек деревьев до травы, у земли становясь все прозрачней и жиже. Немного притомившись, мы усаживаемся на полянке под высокой тенистой березой, чтобы перекусить. Отец снимает спецовку, расстилает ее на траве, вынимает из корзинки завернутый в чистую тряпицу хлеб, яйца, огурцы,. Мы разуваемся, и ногам сразу становится легко и вольготно.

Перекусив, мы с Витюхой ложимся в траву на спину. В небе высоко-высоко плывут большие белые облака, и там, под самыми облаками медленно выписывает круг за кругом какая-то хищная птица – то ли ястреб, то ли коршун. А под крыльями папоротника – орляка все мельтешат и мельтешат два рыженьких лесных мотылька. Сами собой закрываются глаза, но даже и с закрытыми глазами чувствуется, как рябит и движется по лицу пестрая тень листвы от раскинувшей над нами свои ветви дородной березы.

Отец тем временем вырезает ножичком тонкую прямую рябинку для удилища или срезает вершинку молодой сосенки на мутовку для матери. Хотя удилищ на крыше двора сушилось предостаточно, и мутовок у мамы хватало, отец все равно любит принести из леса какую-нибудь полезную вещь. Очарованный лесом, всей лесной благодатью, я спрашивал у отца, почему же не живут тут люди, вот я - так бы и жил тут всю жизнь. Отец усмехнулся: «И не страшно, и не испугался бы? В лесу-то ведь и страшно бывает...».

Прошло года три, а может и четыре с того лета, и вот лес дал возможность припомнить эти отцовы слова.

... Который день подряд стоял сухой, удушливый зной. В один из таких дней уже далеко после полудня кто-то из ребят узнал – тетя Шура Тардова была в лесу, грибов приперла полную корзину, чуть ли не под ручку, и одни белые.

- Слой пошел.

- Когда слой – их хоть косой коси.

- Давай завтра с утречка пораньше сходим.

- Чего завтра, можно еще и сегодня, если не далеко-то.

- Так уж скоро вечер.

- Ну и что, что вечер. Мы по краешку...

Через полчаса человек пять ребят с корзинками спешили вдоль улицы к прогону, несмотря на то, что день уже действительно близился к вечеру.

- Вы что, в ночное, что ли собрались? – кричали нам вслед то один, то другой из взрослых.

Ребята все были Витюхинами сверстниками, намного постарше меня, они и не хотели меня брать, но я, как всегда, увязался-таки за Витюхой.

Шли споро, и до леса дошли быстро. В лесу я старался не упускать Витюху из виду, перекликаясь и пересвистываясь с ним. Но вот ребята, гонимые охотничьим азартом, как-то слишком уж быстро пошли и пошли вперед, вот уж и из виду все пропали, а вслед за ними и Витюха.

Я потрусил было за ними, но, как на грех, прямо под ноги выскочил крепыш-боровик. Пока его срезал, разглядел еще одного да в самом-то чапыжнике, попробуй до него доберись. После этого на мой крик отозвались так далеко, что я уже не мог определить откуда доносится голос. Неприятно тягуче заняло в животе – все, отстал...

Я кричал изо всех сил, но теперь и вовсе никто уже не откликался. И стало страшно. Ничего успокаивал я сам себя, ведь далеко ни я, ни они не успели еще уйти. Грибы же один другого лучше, крепкие закоренки белые все попадались и

попадались. Страх и тревога внутри нарастали с каждой минутой, овладевали каждой клеточкой тела, но не оставлять же их, думал я, в лесу таких красавцев, если они только что сами в корзинку не прыгают.

Между тем шел я уже довольно долго, и лес чем дальше, тем становился все гуще. И наконец, я понял, что иду куда-то не туда, что заплутал окончательно. Проклиная и Витюху, и мальчишек за то, что убежали и оставили меня, я заметался из одной стороны в другую, а лес немотно и жутко все плотней и плотней обступал меня со всех сторон.

Когда же я вспомнил, как отец когда-то говорил – если заплутаешь, иди на солнышко, как раз к дому и выйдешь – и взглянул вверх, было уже поздно, солнечный свет заслоняла огромная зловеще лиловая туча с желтовато-седыми лохматыми краями. Надвигалась она с чудовищной быстротой, и вскоре в лесу сделалось совсем темно и жутко. Растревоженные поднявшимся ветром сосны тёрлись друг о друга сучьями, издавая при этом страшный треск и скрип. Ели качались, как пьяные, всполошенно размахивали косматыми чёрными лапами. Отчаянно, ошалело полоскал ветер встрёпанные вершины берёз, и там, вверху, листва их отливала сизой сталью.

И снова – сам тому уже не рад – разглядел я во мху под прикрытием разросшегося большого куста можжевельника крупный белый гриб с чёрной, бугристой, будто бы из чугуна отлитой и кое-где уже изъеденной улитками шляпкой. На коленях пополз, чтобы вызволить гриб из-под укрытия, и – совсем уж обомлел от страха! Из куста, из чапыги злобно глядел на меня круглый янтарно-жёлтый глаз. И тут же в можжевельнике затрещало, громко захлопало, огромная птица, продолжая хлопать крыльями, низом полетела меж стволов. И только тогда я догадался, что это тетерка, а может, и другая какая-то крупная птица затаилась, спряталась в плотных густых зарослях можжевельника от надвигавшегося дождя, а я, сам того не желая, её потревожил.

И вот он хлынул, хлынул сразу, без подготовки и предисловия, сплошной мутно-серой стеной. Самый настоящий ливень. За его завесой, да ещё и в наступившей темени, и за три шага ничего невозможно было разглядеть, и только время от времени мрак неба вспарывала белая трещина молнии. Затем раздавался сухой треск, будто кто простыню рвал пополам, и тут же многократно оглушительно ухало, совсем рядом, так, что даже вздрагивала под ногами земля, и долго ещё потом гроыхало, перекатывалось и отдавалось по лесу, долго ворчал то ли сам гром, то ли уже его эхо.

Вот тут мне стало страшно так страшно. Маленький, ничтожный, совершенно беспомощный, я дрожал мелкой дрожью, стоя под покровом большой лохматой ёлки, холодные капли ледяными струйками стекали с её ветвей и за шиворот, и на лицо, и на руки. Острой занозой сидело в груди тоскливое, ноющее чувство животного страха. Дождь лил и лил, и что, если он будет идти вот так, не переставая, до ночи? Ужас охватывал меня от этой мысли.

Но вот туча все же свалила, дождь понемногу стал стихать и, наконец, перестал вовсе. Не представляя куда, в какую сторону теперь идти, я метался по лесу, а мокрые ветки больно хлестали по лицу, по глазам. Вскоре я вымок до последней нитки и выбился из сил. Но не стоять же на одном месте, и я побрёл, наугад выбрав направление, в надежде хоть куда-нибудь, да выйти.

И вот стволы стали редеть, вот появились между ними просветы. И сразу как-то немного отлегло, полегчало на душе. Вскоре я выбрался на совершенно незнакомую дорогу, бледною лентой светившуюся в вечерних сумерках. Увидев лимонные просветы в сизом небе над зубчатой каймой леса, я понял, что теперь сумеречно стало не только от туч, а ещё и оттого, что время позднее.

Дорога — это хорошо, это гораздо лучше, чем в безнадежности метаться по лесу, но куда, в какую сторону

идти по ней? Вдруг, совсем неожиданно, будто из-под земли выросла, на дороге появилась сторбленная старуха с длинной палкой в руке, с какою-то поклажей за спиной. И опять – в который уже раз за сегодняшний день! – мурашки страха побежали меж лопаток. Про таких вот скрюченных старушек как раз и рассказывала жуткие байки тётя Шура Тардова.

«Не маленький уж сказкам-то верить!» - стыдил я себя. Когда старушка подошла близко, оказалось, что это обыкновенная деревенская бабка, только старенькая, и осмелев, я спросил её про дорогу, куда мне идти.

- А так вот и иди, милой, так и иди.

Успокоившись, теперь я пошёл уж бодро, и через какое-то время лес отодвинулся в сторону, и за полем завиднелись тёмные крыши знакомого Кореева. Сами собой откуда-то взялись силы, и, обрадованный, я бегом почти побежал по дороге, перепрыгивая тусклым оловом мерцавшие лужи.

О, какой же дорогой и милой сердцу показалась мне наша улица! Как приветливо, как ласково светилась она жёлтыми окнами изб!

Дома на печке хлюпал носом, уже получивший взбучку Витюха. Ремень был приготовлен и для меня, но и без порки вид у меня, должно быть, был таким плачевным, что ремень отложили до следующего раза, да и принесённые мной красавцы белые произвели впечатление.

Ангел-хранитель вывел меня тогда из лесной чащи. И впоследствии не раз помогал он в сложных ситуациях выйти на путь праведный.



Сухой зной прочно установившегося лета ощутим уже с самого утра. И с самого утра по неторопливым приготовлениям старших, по дразнящим запахам, волнами гуляющими по дому, чувствуется, что сегодня не обычный день – сегодня праздник.

Мама только что вынула из печи пироги, прикрывает их чистыми белыми тряпицами, чтобы отпыхли. Немного выждав, она водит по румяной корочке пирога гусиным пером, обмакнутым в растопленное скоромное масло, и из кухни через открытые окна далеко, чуть ли не на всю улицу течёт, растекается томительно сладкий сдобный дух.

На мосту, в коридоре, плавают сизые пелены дыма. Едкий, угарный запах от него проникает и в избу – это Клавдия минуту назад махала там чугунным жаровым утюгом, набитым вынутыми из печи углями. Махала для того, чтобы утюг побыстрее нагрелся. Сейчас она в задней половине гладит своё новое крепдешиновое платье – синее в белый горошек. Шурка ждёт своей очереди, ему нужно навести стрелки на брюки–клёш. Пока он на крыльце наводит тряпочкой–бархоткой блеск–лоск на ботинки «джимми».

Сегодня праздник, сегодня Троицын день. Кроме того, сегодня на ипподроме состоятся бега, а это – событие. Оно бывает каждый год, его ждут. Посмотреть на бега собирается едва ли не весь поселок. А сколько народу приходит и приезжает – на лошадях, разумеется – из окрестных деревень!

Мама, видя наше с Витюхой нетерпенье, отрезает нам по хорошему куску горячего еще пирога, наливает по кружке молока.

Пирог горячий, молоко холодное – вкусно! Но рассусоливать некогда, нам надо быстрее на улицу.

- Подавитесь, подавитесь вот пирогом-ту! Сварите всё в кишках-ту! Что за спешка за така?!!

- А-а-а! Парнишки-то не будут ждать, уйдут!

- Никуда не денутся ваши парнишки!

На ходу уже доедая пирог, выкатываемся на улицу. Там уж и братья Куделины, и братья Ратмановы, и Валька Ершов, и Бакловские ребята. Кого-то ещё ждём, и вот, наконец, вся наша уличная ватага, загребая босыми ногами пыль, оживленно обсуждая что-то на ходу, спешит туда же, куда спешат, торопятся ребята и с других улиц, куда идут степенные мужики, разнаряженные девки и бабы.

Разноцветные, пестрые людские ручейки с разных концов сливаются в один живой поток, и поток этот движим одним устремлением – все идут на край посёлка, на ипподром. Сегодня – бега.

На ипподроме народу столько, что даже в глазах рябит. Разноцветье нарядов, особенно женских, делает всю эту колышущуюся людскую массу похожей на огромную клумбу, цветы которой постоянно перемещаются, перемешиваются, движимые силой, не подчиняющейся никакому закону. Народу так много, что глаз устаёт уже отмечать особенности одежд, характер лиц, и они, будто при катании на карусели, плывут, смазываясь, теряя определённости очертаний. И всё-таки что-то да задерживает на себе взгляд, что-то да оставляет отпечаток в памяти.

Вот идёт молодая, крупная и высокая баба – чуть не на голову выше всей толпы. И голову держит высоко, как бы скользит взглядом поверх этой кишмя кишачей и суевающейся мелкоты. Не идёт, а плывёт, неспеша и твёрдо, и народ расступается перед нею, будто шуга в половодье перед грудастым парходом...

Пьяненький, с утра уже, видимо, как следует поддавший мужичонка растелешился до пупка. На голове у него

соломенная шляпа. Мужичка на солнышке разобрало, и голова у него всё сваливается то на одно плечо, то на другое, а вместе с этим сваливается шляпа. Мужичонка неуклюже наклоняется за нею, неуклюже напяливает на голову, но она через минуту опять слетает.

Деревенские парни, несмотря на жару, все в хромовых, собранных в гармошку сапогах, выступают тесной стенкой, хоть сию минуту готовые вступить в рукопашную с кем угодно. В середине кряжистый, краснорожий ухарь, со всею необузданной силой рвёт он малиновые меха трёхрядки, и она визжит недорезанным поросёнком. Туза на шеях жилы, пуча глаза, парни стараются переорать гармонь:

Мы ребята ёжики,

У нас в карманах ножики!

Следом за ними, щёлкая семечки, идут их залётки. У всех у них по-одинаковому — маленьким сердечком — нарисованные губки, высокие причёски, нарядные, цветастые платья...

Калека с обожжённым страшным лицом медленно и неловко передвигается на костылях. К обрубку ноги ремнями пристёгнут грубо выструганный деревянный протез, похожий на перевёрнутую вниз горлышком бутылку. Выгоревшая до желтизны гимнастёрка навывпуск и без ремня, на гимнастёрке сиротливо поблескивает одна разъединственная медаль...

Цыганки, перевязанные крест-накрест цветастыми шальями, с многочисленными чадами, с бородатым пожилым цыганом во главе прошли мимо, дымя папиросками, громко, гортанно переговариваясь между собою...

Мы спешим к коновязи, туда, где всхрапывают, попеременно ржут, нервно бьют копытом в землю привязанные лошади. Все они хорошо вычищены, вымыты, шеи и крупы их атласом блестят на весёлом солнышке. Наездники, в ожидании заездов, похлопывают, оглаживают их, ласково приговаривают что-то вполголоса, всеми силами стараются успокоить своих любимцев.

Вон и наш двоюродный брат Иванко со своим шоколадного цвета рысаком. Завидев нас с Витюхой, Иванко кивает нам, улыбается, но видно, что и он волнуется сегодня, и мы проходим мимо, понимая, что ему сейчас не до нас.

Иванко не раз уже занимал призовые места на бегах, не раз ездил на соревнования в область. Колхоз, где работал Иванко, и сам председатель колхоза были в почёте и славе. Председатель в любом деле не желал упускать первенства и держал двух-трёх породистых рысаков специально для конных беговых соревнований. В повседневное время Иванко возил председателя на резвом рысаке по полям и фермам, в район и в область.

Вот привезёт, бывало, колхозное начальство на какое-нибудь совещание в райком или в райисполком, а сам к нам. Заседали тогда подолгу. Мама ему шей горячих нальёт, хлебает Иванко, а пот с него в три ручья течёт.

В один из таких приездов, зимой дело было, Иванко предложил:

- Давай прокачу!

Каких-нибудь десять минут, и вот уж мы за посёлком, вот уж раскинулось впереди неохватимое оком широкое поле, окаймлённое по краям заиндевевым лесом. Солнце светит так ярко, что глядеть невозможно на слепяще сияющий белый простор.

Но вот Иванко прищелкнул языком, чуть привстал, чуть поддёрнул поводья, и рысак, будто того и ждал, понёс во всю мочь. Будто машина, будто механизм какой-то, заработали крепкие, сильные ноги, и ошметки снега полетели из-под копыт в лицо, в глаза, запушило и шапку, и пальтушку. И дух захватило от этой езды, похожей на стремительный полёт!

Давно это было, а помнится и посейчас, и от одного только воспоминанья хорошо делается на душе!..

Помахав Иванку, пробираемся сквозь толпу дальше, туда, где стоят белые брезентовые палатки, ведь у каждого в кармане штанов по рублишку, выделенному родителями ради

праздника. В палатках чем только не торгуют, какой только вкуснятины нет. Да ведь на рублишко не больно-то разгуляешься, но всё равно – можно купить клюквенного морсу, петушка, мороженое, квасу.

Всею гурьбой подваливаем к палаткам и решаем, чего же лучше купить квасу или морсу, или, может, лучше мороженого. Петушков и раковых шеек нам не надо, уж не маленькие. В одной из палаток упитанная тётенька с красным и мокрым от пота лицом качает из дубовой бочки янтарное с седой пеной пиво. Мужики и взрослые парни пива берут по четыре, по пять кружек, и, отойдя в сторонку, сдувают сверху кудрявые шапки пены, побрякивают и причмокивают, сосут, жуют кто рёбрышко, кто хребтики вяленой воблы, блаженствуют, то залпом, то с расстановкой опоражнивая кружку за кружкой.

Глядя на них, и у нас потекли слюни, должно быть, и впрямь пиво хорошая вещь, если так от него млеют мужики. Костька Бакловский предлагает:

- Давай и мы пивка!...

И вот ребятки поддаются соблазну и отдают свои скомканные рублишки Костьке. Никому из нас пива не продадут, мало дело. А Костька – длинный, он и за парня сойдёт.

Пока Костька стоит в очереди, можно немного отдохнуть, посидеть на травке в тенёчке от брезентовой палатки, окинуть взором происходящее вокруг. Фронтовик – калека, тот, с обожжённым лицом и на костылях, уже изрядно пьяный, что-то кому-то доказывает, кричит и матерится, потрясая в воздухе костылём.

Старый, бородатый цыган с семьёю притулился позади палатки. В одной руке у него большая бутылка красного вина, в другой – стакан, и он по очереди оделивает семейство, не забывая никого. Начал с самого маленького голопузого цыганёнка, плеснул ему на дно стакана глотка на два. Доза в соответствии с возрастом всё увеличивалась, жене

налил почти полный стакан, а себе, уже последнему, вылил остатки, и вино кровавым ручьём потекло по волосатой руке...

Тут же неподалёку в ожидании заезда режутся в очко белодомовские ребятишки – огольцы.

А Костька тем временем уж приблизился к продавщице–буфетчице, такой же приземистой и круглой, как та бочка, из которой она качает пиво.

По мясистому караваю её физиономии вроссыпь посажены крупные бусины пота, она время от времени смахивает их всё тем же полотенцем, которым вытирает ополоснутые в ведре с водой пивные кружки.

Наконец, Костька несёт к нам за палатку три полных, под жёлтою шапкой пены кружки.

Именно на столько хватило наших мятых рублей. Никто из нас ни разу не пробовал пива, и каково же было наше разочарование, когда оно оказалось совсем не таким, как ожидалось и мнилось в вожаденном представлении.

- Ну, как? – спрашивает Костька у Шурки Ратманова.

- Как? Как кобыла нассала, - недовольно бурчит Шурка.

- Чего бы понимал! - Костька презрительно кривит губы, тянет из кружки, сдувая жёлтую пену на землю, причмокивает, крикает, в точности так, как это делают мужики. Только видно же, что притворяется, видно, что и ему это дело не понутру.

Но вот на деревянной вышке брякнули три раза в колокол, и народ валом повалил к беговой дорожке. Внешняя её сторона оцеплена бечёвкой с флажками, за бечёвку во время заездов заходить нельзя, опасно, затопчут лошади. Сверху, с вышки, кричат в жестяный рупор, вызывают участников заездов, и они подъезжают к старту, выстраиваются в ряд. По отмашке белого флажка лошади рвутся вперёд; кипит, волнуется людская толпа, гулко раздаётся по земле тупой топот конских копыт.

Вдруг Витюха тыркает меня локтем в бок: «Иванко!». После отмашки вперед сразу же вырвался молодой тонконогий жеребец, но скоро отстал и отставал с каждым кругом всё больше и больше.

«Горяч, да молод ещё!» - отпускают в его адрес стоящие рядом мужики. Первенство берёт и уверенно ведёт крупная, грудастая лошадь. Иванко идет следом и пока не торопит своего рысака. «Иванко знает, что делает! Погодь, вот щас на прямую выйдет,» - слышится за нашими спинами.

И верно, когда миновал последний поворот, Иванко привстал в бричке, поднатянул поводья. Рысак вытянул вперед точеную голову, вытянулся в струну сам и понёс во весь дух!

И тут случилось что-то непонятное – Иванко вылетел вдруг из брички и, перевернувшись раза два-три, выкатился за край дорожки, едва не угодив под копыта мчавшейся следом лошади.

Ахнула толпа! Иванков рысак, напуганный случившимся, разгорячённый и обезумевший, летел в самую гущу народа. Крики, визг, суматоха!

Толпа тут же окружила кольцом лежавшего у беговой дорожки Иванка, лицо его было перепачкано в крови и серой дорожной пыли. Кто-то из оказавшихся рядом мужиков вызволил из рук Иванка остатки поводьев, внимательно осмотрел их и зло выругался, сплюнул на землю:

- Подрезали, сволочи!

Так потом и выяснилось: кто-то из зависти всегдашнему Иванкову успеху, подрезал втихаря, пока тот отлучался на минуту, ремни гужей, и как только пошёл он на обгон, как натянул поводья покрепче, так они и не выдержали, а сам Иванко, потеряв равновесие, вылетел из коляски...

Мы возвращались домой. Солнце немилосердно жгло и палило наши непокрытые головы.

Дома мама расспрашивала нас с Витюхой отчего мы такие невесёлые, но как-то не хотелось рассказывать о случившемся.

Шло время. Новые дни приносили новые впечатления, но долго ещё потом стояло в глазах изуродованное Иванково лицо, перепачканное кровью и серой дорожной пылью...



Речка – золотое дно

День, как почти и всегда в это долгое–предолгое, теплое–претеплое лето, начинался с лучезарного, ослепительно белого утра с веселым солнцем, с хрустально-чистым воздухом, с оглушительной тишины, разлитой не только по нашей улице, но и по всему белому свету.

И, как всегда в такой ранний час, сижу я с книжкой на своем чистеньком крылечке, по спине нет-нет да пробегают мурашки озноба, а лицо, руки мягко и ласково пригревает золотистое солнышко. Забыв про книжку, наслаждаюсь все прибывающим и прибывающим понемногу теплом, по телу, по всем его закоулочкам разливается тихая радость предвосхищения еще одного огромного и праздничного, как и весь этот окружающий мир, дня.

В сладком полузабытьи я и не заметил, как возле бабки Дуниной избушки возник Шурка Ратманов.

- Э, книгочей! Рыбачить пойдешь?

- Корзиной?

- Ну. Чем же еще... Так идёшь?

- Само собой!...

Через каких-нибудь десять минут мы, четверо пацанчиков, Ратмановы Шурка с Мишкой, Санька Бакловский и я, спешим, забегая вперед, перегоняя друг друга, торопливо семеним по узенькой тропинке, что петляет по краю овражка. А в овражке чуть заметный в щетинистом кочкарнике да в осоке едва слышно булькает ручеек, он как увязался за нами у Баклова так теперь и будет бежать рядышком вплоть до самой Санахты.

Шурка Ратманов с двуручной корзиной за спиной похож на черепаху под панцирем, но не в пример черепахе шагает

бодро и споро, он нет-нет да осаживает нас, в суетливом нетерпении забегающих вперед его по тропе.

Шуркина голова упирается в верхний внутренний край корзинки, а руки поддерживают ее сзади за бока.

Мишка, Санька и я – ровесники, а Шурка постарше каждого из нас на три года. Он сегодня за главного, и мы должны слушаться его. На коллективной рыбалке по-другому нельзя, иначе будет не рыбака, а разброд да споры.

Тропка по лугу выбегает к широкой наезженной дороге, обставленной сбоку столбами электролинии. Дорога эта напрямик идет на мост, что положою дугой выгнулся над речкой Санахтой.

Вот мы и пришли к речке. Ручеек – он так и бежал рядом с нами – тем временем тоже достиг цели, раздвинув заросли высокой зеленой осоки и еще каких-то рыжих и коричневых трав, разлился пошире, образовав бочажину, и наконец, принял к лону пусть и небольшой, но все же уже речки, у которой есть название, и она вот тут недалеко, рядом впадает в реку большую, в великую реку, имя которой Волга.

С этого места, с бочажины при впадении ручья в речку, и начинается обычно наша рыбалка. Ручей своим течением приносит то жучка-червячка, то букашку-козявку, и рыбешка любит тут попастьись. Конечно, не всякий раз она только и делает, что ждет, когда мы придем с корзинкой чтобы ее поймать. Но все же местечко тут хорошее, и не проверить его грешно.

Шурка с корзинкой осторожно заходит в устье бочажины, ставит корзину на дно, а мы втроем раздвигая осоку заходим в воду и начинаем шурудить, ботанить в осоке ногами – один по правой, другой по левой стороне и один по середине заводи. При этом способе ловли важно вовремя вынуть корзину из воды – поторопишься, станешь вынимать раньше, чем нужно, рыбка вильнет в сторону, и поминай, как звали, промешкаешь, опоздаешь на секунду – ну что, она дура, чтобы дожидаться в корзине пока ты выплывешь. Вот

поэтому на этой «операции» стоит у нас Шурка, он постарше, половчее.

Когда мы, протопав осоку, подошли к Шурке уже довольно близко, он до этого напряженно вглядывался в глубину и вдруг резко вынул корзину из воды. В ней трепыхалась, упруго сгибая и разгибая серебристое тело, хорошая крупная рыбина.

- Подъязык! – обрадовано, каким-то свистящим шепотом оповестил нас Шурка.

- О! А-а-а!

- Тихо вы! Айда-те к мосту.

Речка бежит, торопится, в жгуты завивает упругие струи, солнышко, отражаясь в мелкой ряби, яркими вспышками слепит глаза. А под мостом сумеречно, лишь кое-где в щели настила проникает свет и длинными золотистыми мечами пронзает речку аж до самого дна. Деревянные сваи моста высоки, больше двух метров, и хотя сейчас речка мелкая, весною в половодье вода в ней поднимается так высоко, что порою даже захлёстывает настил моста.

Под мостом гулко раздаётся всякий звук, поэтому Шурка опять строго приструнивает нас:

- Тихо вы!

Разбиваясь о сваи моста, вода вспенивается перед ними в небольшие белые барашки, а миновав их завивается, заплетается в косы. Вот здесь любят порезвиться, поиграть окуньки, а то и щучка. Шурка с корзиной встаёт чуть выше свай, а мы по очереди ботаем вокруг них, ботаем и у берега. Но нет – на сей раз не повезло.

- Не всё по семи, сядь да посери! ... - угрюмо бурчит Шурка. И мы идём дальше вверх по течению речки. Штанишонки у нас закатаны выше колен.

К месту, где по нашему разумению может пойматься рыбка, подходим с большой осторожностью, стараясь не шуметь, не баламутить воду, а чтобы меньше было шума, нога в воду заходит с оттянутым носком. Вода в речке чистая,

прозрачная, и сквозь неё отчётливо видно всё дно. Где-то оно песчаное, и песочек сморщило течением в мелкие волночки, как на стиральной доске, где-то песочек покрыт мелкою галькой, а то и скользкими голышами, ступать по которым уже не очень-то способно, больно ногам. Кое-где, ближе к берегу, дно усыпано зеленоватыми ракушками, их пустые створки валяются на прибрежном сером песке. Должно быть, какая-то птица лакомилась содержимым ракушек. Внутренняя часть створок отливает нежно-сиреневым и розовым перламутром, и это всегда радует глаз.

Кое-где на речном дне лежат и большие туполобые камни – валуны, покрытые сопливой слизью, поросшие зелёными бородами водорослями, течением эти бороды мотает из стороны в сторону. И мы проверяем каждый такой камень, если только посильно отвернуть, сдвинуть его с места. Да даже если и непосильно, всё равно – Шурка ставит корзину возле камня, а мы ботаем, отаптываем его со всех сторон. И тут из-под камня выскакивает сладко спавший там пескарёк и попадает прямехонько в корзину.

Вот по пути следования встретился наклонившийся к воде куст ольхи. Под кустом – тенёк, осочка. Пошерудили ногами в осочке, глянь – остромордый щурёнок опростоволосился, попался в корзину.

Как бы мельком, как бы вскользь, но глаз замечает и изъеденные жучками резные листья ольхового куста, и самих тёмно-синих блестящих на солнце жучков, и висящих неподвижно над осокою златокрылых большеглазых стрекоз. И всё же растительности по берегам речки маловато – где-где сиротливо стоят у воды куст ивняка да худосочные ольховые куртинки. Старики, старожилы нашей улицы говорили, что речка раньше была совсем не такой, как сейчас. Была она полноводной, чуть не у каждой деревни стояли мельницы, плотины создавали подпор воды. Да и берега были сплошь зелёными от кудрявых зарослей ивняка. Однако перед войной ещё мельницы захирели, а ивняк потравили, погрызли козы,

их многие стали заводить вместо коров, потому что коров держать стало трудно. Без растительности берега речки стало подмывать быстрою водой, особенно в половодье. Осыпавшимся грунтом замывало дно, и стала речка совсем мелкой.

Однако нам она нравится и такой, какая есть, ведь другой-то мы и не видывали. На речке мы проводили все дни напролёт, начиная с половодья и до той поры, когда её замёрзшую укрывало плотным снежным покрывалом.

Речка являлась для нас как бы начальной школой, здесь мы получали первые уроки мужества, первые уроки жизни. Она исподволь подготавливала нас к жизни на Волге, на рекой большой и серьёзной, с которой уже шутки плохи. Там течение быстрое, там воронки засасывают неопытного пловца на самое дно, там средь ясного дня откуда ни возьмись поднимется вдруг такой вихрь, такая волна, что и лодку вверх дном!...

У речки, конечно же, было и имя – Санахта, но редко кто называл её по имени. Речка – и всё тут. Ведь другой-то речки поблизости больше и не было. Ну, а Волга? О, Волга – это река, её так и звали река. Река – значит, Волга. Речка – Санахта.

С шести, с семи лет мы, жившие у речки пацанчики, учились здесь плавать сначала «по-собачьи», затем и «саженками». И это было так же естественно и обыкновенно, как годовалому ребёнку научиться ходить.

Научившийся плавать, усвоивший этот первый урок речки, испытывал и внутреннюю радость и гордость. Весной, в ледоход, уже не так страшно было, вооружившись шестом или доской, взобраться на проползавшую мимо берега льдину и отправиться на ней в плаванье. Ну, маленько боязно, конечно. Иной раз льдину возьмёт да и опрокинет другая, более мощная, наскочившая сзади. В ледяной воде приходилось выбираться на берег при таком пренеприятном случае. И это тоже был урок! ...

Купаться начинали обычно с майских праздников. Кое-где в тени, под кустами лежат ещё остатки серых с чёрным мусором сверху льдин, а солнце уже припекает изрядно, и речка зовёт, манит к себе, ведь не купались целую зиму. Весёлой, шумной ватагой идём к речке, и вот кто-то из самых отчаянных снимает штаны и сигает в обжигающую огнём воду, хотя бы только окунуться, и сразу же пробкой вылетает на берег. Один попробовал – надо второму, третьему. Но это были уже второй, третий. Первый же был – герой! Летом, в палящий зной, всю гурьбой отправлялись купаться к останкам старой мельницы, где от прежних времён сохранился глубокий омут, а около омута – довольно высокий обрыв, с него ныряли в воду кто как умел. Малышня, одной рукой зажав нос, другой «кукушку», прыгали «солдатиком», ребята постарше сигали с обрыва с разбега вниз головой.

В первый раз даже и «солдатиком» прыгать было страшновато. И всё-таки наступал тот день и момент, когда совсем маленький пацанчик набирался духу и смелости и, зажмурив глаза, прыгал с этого обрыва. И это была очередная победа над самим собой.

Купались в речке до посинения, и когда уже зуб на зуб не попадал, падали плашмя на белый, горячий песок. Радужные круги – жёлтые, оранжевые, красные – плыли в прикрытых мокрыми ресницами глазах. Десять, пятнадцать минут – и тепло вновь возвращалось в тело. И снова в речку!

Купались всё лето напролёт и всё лето напролёт рыбачили. Ребята постарше рыбачили и на удочку, и небольшим бредешком. Известно, что в удочке главное дело – хороший крючок. Такие крючки–заглотыши можно было получить у старьевщика в Подлужье за принесённые ему железяки и медяхи. У заядлого рыбачка за околыш кепки над козырьком всегда было зацеплено два-три запасных крючка.

На удочку ловили после половодья, пока воды в речке было много. Когда вода спадала ходили удить к останкам старой мельницы, всё к тому же омутку.

Вот так, день за днём, проходило на речке длинное–преддлинное, теплое–претёплое лето.

В конце ноября речку обычно уже сковывал мороз, и мы, обув на полуразвалившиеся валенки коньки-снегурки, отправлялись кататься по молодому тонкому льду. Лёд был прозрачным, как стекло, через него хорошо было видно и космы бурой травы – осоки, и каждый камушек. В нём, как в зеркале, отражалось небо с сизыми облаками, и деревья, и кусты.

Лёд зыбал, прогибался под ногами, тонко звенел от брошенной палки или камня. Но держал. Было страшновато немножко, но и весело в то же время. И это были прощальные забавы на речке. Вскоре её надолго укутывало толстым, плотным слоем снега.

...Но пока до этого далеко. Пока в разгар благодатного летнего дня мы идём по речке от куста к кусту, от одного лобастого камня к другому. По золотому дну речки перебегают, играют солнечные зайчики. И всё прибывают да прибывают рыбёшки в жестяном ведёрке. Если встанешь на минутку, чтобы чуток передохнуть, то вода начинает журчать вокруг ног, и тугие струи начинают щекотать икры, и кажется, что скользкие налимы так и выются под водою вокруг ног. Бывает, конечно, что какой-нибудь шальной пескаришка и вправду ткнётся носом по нечаянности в ногу, но тут же с молниеносной быстротой метнётся в сторону, в ту же секунду исчезнет из виду.

Сверху солнышко нещадно палит нам макушки голов, а ноги сводит от холода. Вода в речке, хоть и лето в самом разгаре, если долго в ней находиться, всё-таки кажется студёной, а потом и вовсе ледяной. И вот мы выходим на бережок, на горячий песочек, собираем кто что найдёт – свёрнутый в трубочку кусок бересты, сухую коряжку, палку,

остатки старой крылёны – всё это ещё по весне осталось на берегу после паводка.

Этот горючий материал, а по нашему – дровишки, мы складываем в кучку и разводим костерок.

Костерок разводим не для сугревки – ноги давно уж отошли от ходьбы по горятнющему песку, - а так, для забавы. Ведь посидеть у костерка, посмотреть, как пляшет резвый огонь – всегда хорошо и приятно, костерок согревает не только тело, а и душу.

Костерок занимается быстро, «дровишки» отменно высохли на солнцепёке, и чтобы они не прогорели слишком быстро, подкладываем в огонь ещё и сырых веток ольшаника. Шурка Ратманов вынул из жестяного ведёрка, где всё ещё трепыхалась пойманная нами рыба, маленького пескаришку, насадил на ивовый прут и стал поджаривать его на огне. Пескарь тут же почернел, выпучил белые глаза. Шурка и нам разрешил зажарить по пескарику. Пескарик и так-то не больно велик, а если от него, обжаренного, оторвать голову да хвост, да плавники, да отколупать шкурку, да вытащить кишки, от него почти что уж ничего и не остаётся. Несолёное и как следует не пропечённое пескариное мяско не шибко и вкусно, однако мы все до одного причмокиваем, как будто бы это и в самом деле какое-то необыкновенное лакомство.

Но вот настала пора делить улов. Малявок разделить не составляет труда. Пескари, ерши, лежаки, व्यюны – все они примерно одинаковой величины, чуть больше пальца. Но в каждую кучку Шурка кладёт и по хорошей рыбине. В одной из них оказывается шурёнок, в другой – пойманный в самом начале подъязык, в третьей два хороших, увесистых окуня, ну и в последней крупная краснопёрка. Разложив рыбу по кучкам, Шурка спрашивает нас:

- Честно?

И мы хором отвечаем:

- Честно!

Теперь Шурка заставляет меня отвернуться, чтобы мне не было видно кучек, а сам, указывая на одну из них, спрашивает:

- Кому?

И я по очереди называю – Саньке, Миньке, тебе, оставшаяся кучка достаётся мне.

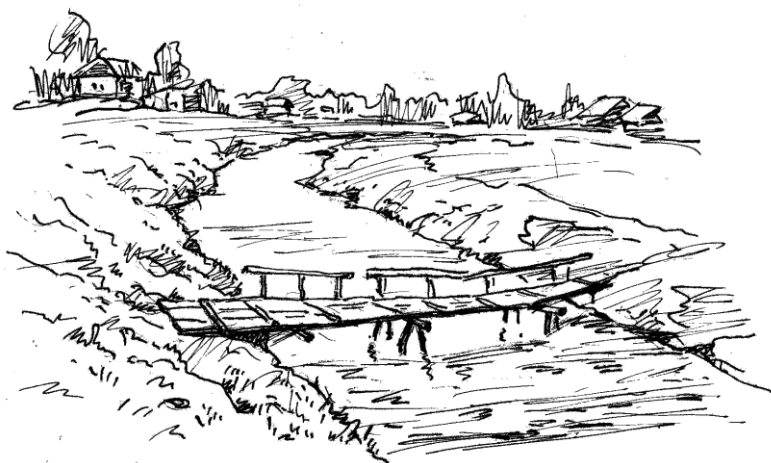
- Все довольны?

- Все довольны!

Теперь каждый из рыбачков нанизывает свою рыбу на кулан, срезанный ножичком длинный ивовый прут. На конце прута один сучок срезан не полностью, оставлено немного, иначе рыба на пруте и держаться не будет.

Вот теперь можно и домой.

Усталые и довольные, теперь уж мы идём не спеша, вспоминая наиболее удачные моменты рыбалки и напрочь забыв неудачные, из-за которых всего каких-нибудь час-два назад дело доходило чуть ли не до драки.



Покровская гора

В начале августа в деревнях за Санахтой всюду шумел и разливался престольный праздник – Ильин день. Праздник всякий год бывал нарядным, ярким, с большим стечением и старого, и малого люда, с грозой и ливнем среди гулянья, с драками и поножовщиной среди молодежи.

За Санахту на гулянье к Ильинской церкви отправлялось почти что всё население и с нашей улицы. Вернувшись домой от праздника, управившись с хозяйством и скотиной, бабы к вечеру выходили «погулять» уже на своей улице, посидеть на лавочке или на крылечке возле чьего-нибудь дома.

В это время обыкновенно и мы, ребята, пристраиваемся где-то неподалеку, на завалинке, собравшись в стайку.

Вечера в августе уже достаточно прохладны, и мы, накинув прямо на голое тело какое-нибудь рваньё, старую фуфайку-ватнушку, сидим, будто воробышки, прижавшись друг к другу, слушаем о чем судачат бабы.

Тетя Шура Тардова «погулять» выходит редко, но если уж выйдет, то обязательно разговор повернет на какую-нибудь чертовщину, примется нечистую силу да «черных» вспоминать, про то, как ведьмы в черных кошек оборачиваются, про порчу да сглаз.

Мы сидим, уши развесим, иной раз и дрожь пройдет по спине, и волосы зашевелиятся на голове.

И про монастырь, что стоял в незапамятные времена на Покровской горе, тоже тетя Шура любит рассказывать.

- Сколько воды-то утекло, о-о-о! Никто уж и места точного не укажет, где он стоял, монастырь-то. Только и есть, что одна часовня теперь стоит, да и та захирела. Монахи поставили часовенку-то эту в память об иноке, о братце своем убиенном. Отрок-инок подвизался в монастыре,

двенадцати лет от роду, а такой ли боголюбивый был, вот Господь и прибрал его к себе. Гроза, вишь, была, молнией и убило его. На то, видать, была воля небесная.

Люди бают, что и по сию пору над часовней свеча по ночам возжигается. Кто ее возжигает – неизвестно. Бают, и ветер подует сильной, а свеча все горит неугасимо...

Да... А клад–то так никто и не сыскал. Зарыли монахи добро-то свое в яму, когда прослышали, что закрывать их будут. Вырыли яму, сложили в нее и золото, и серебро, и всякие драгоценности. Плитой железной прикрыли да землей присыпали. Многие пытались это место найти, да нет – никак...

И вот на другой день с утра пораньше спешим, торопимся мы на Покровскую гору. Идем с корзинками под предлогом будто бы шишек сосновых для разогрева самовара набрать. Ходим, бродим по горе, и вот нет-нет да и тукнет кто-нибудь пяткой в земную твердь – не отзовется ли, не гукнет ли железная плита.

Плита не отзывается, но на горе так хорошо, так привольно! Сухие, расщеперившиеся сосновые шишки тут и там лежат поверх хвои, будто маленькие серые ежики, и так приятно взять их в руки! Рыжая, нападавшая за многие годы хвоя устилает землю под соснами ровным пружинистым пологом, ноги скользят по гладким, длинным иголкам. Узловатые, толстые корни сосен вылезают местами наружу, или же, будто вена кожу, бугрят, вздымают землю, покрытую реденькой травкой.

Желтые солнечные пятна золотят стволы сосен, в беспорядке лежат у их ног на земле.

А как замечательно красивы сосны! Они совсем не похожи на те, что растут в лесу. Там, в лесу, им тесно, и они, обгоняя друг друга, тянутся вверх, прямые, как струны. Здесь же, на подошве горы, они стоят вразброс, тут им вольготно, просторно. Бронзовые стволы их по-богатырски кряжисты, а

раскидистые мощные ветви, будто руки, поддерживают темно-зеленые шапки густой хвои.

Здесь, на горе, когда-то давным-давно, больше двух веков назад стоял мужской монастырь Покрова Пресвятой Богородицы. От него и гора получила свое название, стала называться Покровской. Много лет прошло, но до сих пор живы предания, связанные с монастырем, и до сих пор сохранилось у жителей округи особое отношение к этому необычному месту, более всего к этой сосновой роще, что расположилась на склоне горы. Во все времена ее берегли, как святое, священное место. Валежник, сухие ветки регулярно убирались, но упаси Бог, и мысли такой никому в голову не приходило, чтобы спилить хоть одно здоровое дерево.

И все-таки перед затоплением, перед тем, как появиться вместо Волги водохранилищу, эти сосны спилили. Пилили их специально изготовленными пилами, хода обычной двуручной пилы не хватало, чтобы свалить деревья чуть ли не метровой толщины.

Несмотря на то, что Покровская гора всегда была овеяна седым дымом преданий, таинственности и загадочности, это место все равно оставалось одним из самых любимых для ребят близлежащей округи.

Зимой сопливые сорванцы собирались сюда кататься на лыжах, будто муравьишки ползли ребятки вверх по склону горы, а оттуда – стремглав, с ветерком, вниз. Далеко не каждый мог съехать со всей горы целиком, так она была высока, крута и длинна. Заберешься на самую верхотуру, поглядишь вниз, и то уже страшно, коленки дрожат, дух захватывает. А мальчишки в конце горы еще и прискочку, самодельный трамплин из снега устроят, отмечают – кто дальше улетит.

Сколько тут было азарта, сколько героизма! И только треск стоял от вдребезги разбитых лыж. Хорошо хоть, что лыжи у большинства были самодельными. Сломал – ну и

ладно! Завтра можно другие сделать. Весной, когда широко разливавшаяся Санахта затопляла всю нижнюю, довольно обширную луговину перед горой, а частично и саму гору, хорошо было здесь, у затопленных сосен, покататься на лодке, в особенности вечером, когда сизые сумерки размывали очертания и контуры деревьев, и они, будто в старом, тусклом зеркале, отражались в спокойной свинцовой глади воды. В это время заядлые рыбаки ставили по низу горы, плетенные из тала рыболовные снасти – морды и крылены.

На подошве горы около рощи было много довольно больших и глубоких ям, неизвестно откуда здесь взявшихся. Полая вода постепенно сходила, но в этих ямах она оставалась, в них оставалась и рыба.

Когда воды было много, по ямам лазили с двуручной корзиной. Вода была еще холодна, но – что делать? – приходилось снимать штаны. Один из рыбацков, бродя по яме, «ботал», то – есть шерудил в траве ногами или палкой, другой держал рядом корзину. И вот нет-нет да и попадется в корзину то карасик, то линек, а то и щуренок. Спустя какое-то время воды в ямах становилось совсем мало, рыба была на виду, и не составляло большого труда поймать ее прямо руками.

Летом прыснет дождик, и мальчишки на другой день спешат на гору, около сосен по краю стайками высыпают сопливые маслятки. Уж не так их много, но на жарешку всяко наберешь.

Со стороны Волги гора была совсем крутой и обрывистой. Внизу, под горою, синей лентой извивалась Воложка. Верхняя глинистая часть обрыва, будто буравом была изрешечена дырками гнезд ласточек и стрижей.

Юркие стрижи и ласточки целый день с утра до темноты с пронзительным визгом и вереском носились по всему пространству: от простершейся внизу волжской глади до самой поднебесной сини.

Здесь, у самого обрыва, мальчишки нередко забавлялись ловлей ласточек. Улегшись на пузо на край обрыва, замечаешь, в какую дыру залетает ласточка, и приставляешь к ней ладонь. Но, не закрывая наовсе отверстие. Ждешь с минуту и, когда ласточка намеревается выстрелить из летка, в этот момент и надо успеть ее схватить. Подержав немного пленницу в руках, подбрасываешь ее вверху, и она пулей улетает в сияющую голубизну и тут же теряется среди сотен и сотен других.

Хорошо, привольно летом на горе!

Мама рассказывала, что в прежние времена в праздник, в Троицу, или просто в выходной день на гору приходило и приезжало отдохнуть, погулять множество люда всякого сословия. Многие приезжали в нарядно разубранных коврами тарантасах, приезжали семьями и обязательно брали с собой самовар, угощение. Расположившись в холодке, в тени сосен или берез, разводили шишками самовар, гоняли чай с калачами, пели песни.

А еще мама рассказывала о том, что в довоенные годы с наступлением лета в Василево из Нижнего часто приезжали дачники-евреи. Чаще всего они останавливались в Подлужье, жили здесь «на хлебах», то есть на хозяйских харчах. Они вдоволь кушали рыбу, а тогда и судака, и стерляди в Волге водились предостаточно, ели зелень, овощи и чеснок, пили парное козье молоко, купались. В конце лета закупали чеснок и впрок. А кроме того, всякий день ходили на Покровскую гору, дышали настоящим горячей хвоей воздухом, считая это чрезвычайно целительным для своего здоровья.

В любую пору хорошо погулять на горе, хоть с ребятами, хоть одному. Но более всего мне нравилось забраться на самую ее верхотуру и посидеть или даже полежать там, наслаждаясь простором, изобилием тепла, света, воздуха.

Отсюда, сверху, взору открывается вся волжская ширь и в ту, и в другую сторону, а над нею, над ширью, отражаясь и дробясь в синей воде, висят большие округлые облака. Вот по

Волге, не торопясь, идет себе, пытит прокопченный, черный, как жук, буксирчик, волоча за собой длиннющий плот. Белым лебедем по речной глади проплывает красавец пассажирский, торопится, бойко стучит алыми плицами, взбивая белые буруны.

С горы хорошо видны и заволжские пойменные луга с пасущимися там стадами, и леса, тающие в голубой хмари. Вдали, по направлению к Катункам, зеленой ящерицей вытянулся Верхний остров, а прямо напротив Покровской горы – Нижний.

Отсюда, с горы, виден весь Божий мир, вся земля. Ну, не вся, так половина.

Нет, что ни говори, а хорошее место выбрали когда-то монахи для своего обитания и молитв!

Но вот приходит вечер. Краски становятся гуще и горячей. Облака, напоенные светом и теплом, неторопливо плывут друг за дружкой, похожие на сытое, медленнодвигающееся домой стадо. Солнце все ближе и ближе подкатывается к куполам Ильинской церкви. Синие тени ложатся от берез и сосен на бархатисто-зеленые бугры. Ласточки и стрижи с визгом и вереском взмывают ввысь, купаясь в золотых лучах заходящего солнца.

Земля, хорошо прокаленная за долгий летний день, теперь отдает тепло, и это тепло так приятно босым ногам. С Волги попеременно со знойными волнами воздуха накатывает уже и прохлада. Повинуясь восходящим течениям воздуха, облака вытянулись по вертикали, как бы встали на дыбы, и стали совсем рыжими, багровыми и лиловыми.

Непонятное, но сильное волнение охватывает в такой час все существо, и хочется то ли петь, то ли плакать...

Пора домой. В ветвях старых ветел зарождаются блеклосизые сумерки, они незаметно, исподволь начинают окутывать приближающиеся избы, сарай и огороды. Большая желтая луна запуталась в мелкой сетке ивовых ветвей и вот теперь неспеша выползает, выбирается оттуда.

Дома, выпив кружку молока со скроем ржаного хлеба, я забираюсь на сенницу. Спать там становится все прохладнее, но пока еще можно. Сквозь щель дырявой крыши с любопытством глядит на меня маленькая бледно-зеленая звезда...

Назавтра предстоит новый день, и он, так же, как и нынешний, будет длинным-предлинным и полным всякой всячины.

Назавтра предстоит целая жизнь.



Содержание

Керосиновая лампа	5
Запах дикой розы	10
Белые ромашки	23
Стаканчики граненные	38
Брат мой Леска	45
Хромовые сапоги	50
Гармонь.....	57
Саша	63
Там, в избе деревянной	73
Печка	83
Дуняшка	88
Праздник	93
Дочка	103
Борька	110
Курочки и петушки	115
Гуси	123
Улица родная	127
Мостик	142
Черное и белое	149
У старого вяза	166
Тамарка	177
Игроки	181
Лиля	190
Инженер	195
Дерева вы мои, дерева	200
Пироги с черникой	209
Лес	217
Бега	226
Речка – золотое дно	234
Покровская гора	243